

Иван Иванов

"Трансвааль, Трансвааль..."

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Иван Иванов

Трансвааль, Трансвааль

«Автор»

2000

Иванов И. Г.

Трансвааль, Трансвааль / И. Г. Иванов — «Автор», 2000

В автобиографической повести автора рассказывается о жизни огромной страны с довоенных лет и годин военного лихолетия до конца столетия глазами сначала ребенка из простой крестьянской семьи на земле древней новгородчины, а потом просто человека-труженика, такого, как подавляющее большинство из нас. Повесть написана роскошным народным слогом с толикой доброго юмора. Рассказами бывалого и неунывающего жизнелюба можно назвать картинки, которые в своем единстве и составили повествование. Автор — член Объединения русских литераторов Эстонии и Союза писателей России. Содержит нецензурную брань.

© Иванов И. Г., 2000

© Автор, 2000

Содержание

«Иван-в-Квадрате»	6
Глава 1	9
Господи, будь милостивым...	9
И приходят пароходы...	12
Подкова на счастье	16
Музыка, которую можно только заработать...	21
Глава 2	23
Глава 3	41
Глава 4	44
Конец ознакомительного фрагмента.	63

*Светлой памяти замечательного русского писателя-новгородца
Бориса Романова посвящается.*



Васильев

«Иван-в-Квадрате» (Слово об авторе)

С самого дня рождения, со знаковой для народов огромного континента даты 22 июня, удивительно сложилась жизнь этого скромного жителя небольшого курортного городка Пярну, как он сам говорит, «города вековых лип у моря и двух храмов российских Государынь Елизаветы Петровны и Великой Екатерины Второй», что расположился на эстонском западном балтийском взморье. А появился на белом свете бойкий мальчонка Ванятка на исконной русской земле в деревне Частова у новгородской речки Мсты ровнехонько за 12 лет до печальной памяти начала Великой Отечественной войны. «Я же мстинец, любит повторять Иван Гаврилович, а мстинец – это больше, чем новгородец, а новгородец – это больше, чем русский...». Именно с тех мест и происходит яркий и воистину народный слог от природы одаренного повествователя.

Прямиком с застолья, устроенного на родном деревенском дворе как бы в ознаменование 12-летней вехи в тогда еще юной жизни Ивана Гавриловича Иванова, проводили селяне почти всю свою взрослую мужскую родню на фронт. Уже значительно позднее понял он, прозванный друзьями «Иваном-в-Квадрате» за предельную сочетаемость русских имени и фамилии, что застолье-то было приурочено скорее к горьким проводам. Однако же, вряд ли в наполненное праздничными предвкушениями утро того дня, 22 июня 1941 года, он вполне понимал, что война – это страшное горе и трагедия для многих людей, для всего народа и мира людского, что война – это штука, которая многих людей домой не вернет. Как не вернула она отца Гаврилу Ивановича, известного в родных весях мастера на все руки, прозванного за искусство свое Мастаком. По пути от родимой околицы до станции провожая подводы с деревенскими мужиками, ставшими в одночасье солдатами-защитниками Отечества, мальчонка Ванятка, сидючи на вверенной ему мобилизованной лошаденке, героически и лихо рубил прутлом-«саблей» змеино-колючие головы запыленных придорожных чертополохов-лопухов, обретших в его мальчишеском воображении образы «фашистов-ворогов»... А когда возвращался с председателем колхоза предельно уставший с проводов, то как-то само собой представилось, что шагнул он прямиком из детства во взрослость, минуя легкую своей беспечностью и беззаботностью юность. Память об отроческих годах спеклась в густой и темный образ лихолетья «в зоне выжженной земли Волховского фронта...» да в уверенное ощущение, что сызмальства иного обращения к себе, как по имени-отчеству, слышать так и не привелось. Провожал отца на войну Ваняткой, а вернулся со станции Иваном Гавриловичем, или вернее, просто Гаврилычем. Так его иваново детство и наградило на всю оставшуюся жизнь этим укороченным отчеством...

Многое было потом. И учение садоводству, привившее молодцу мастеровой рукастой породы особую любовь к живому растению, и синие моря-океаны, носившие на своих бурных волнах рыбака дальнего заплыва и корабельного кока Ивана Иванова лет пятнадцать, и шоферская баранка, и бесконечные беседы «за жизнь» с сопутчиками-механиками в неторопливой мужской задушевности на бесконечных же путях-дорогах под мерный и уверенный стук железнодорожных колес тяжелых вагонов-рефрижераторов... Так судьба огранивала самой природой созданный самородок в духовно-прозрачный камень чистой воды. Суровый поэт-фронтник Давид Самойлов не случайно сошелся с ним близко на дружбу да навсегда. «... Он художник подлинный, талант природный. Он не только излагает факты своей жизни, но умеет расположить их во времени и пространстве, создать образ, отрешиться порой от себя и художественно осмыслить происходящее», – сказал Самойлов об Иванове на излете 80-х годов и надписал преподнесенный ему в подарок на шестидесятилетие двухтомник своих стихов:

*Живи, Иван, для пользы общества,
В котором смута и разброд,
Пусть оно на месте топчется,
А ты, Иван, иди вперед.*

Есть люди – носители правды жизни. К ним бессознательно тянутся души человеческие. Когда Иван Гаврилович занимался досугом пярнских ребятишек, да с такой любовью, что о нем пошла широкая молва, стали приходиться письма. Рассказывают, что были и ребячьи послания с почти «чеховским» адресом: Пярну, шоферу Иванову. Как от Ваньки Жукова на деревню дедушке... Хотя к тому времени Иван Гаврилович давно оставил баранку и пересел из кабины автомобиля в писательское кресло за своим рабочим письменным столом, эти детские письма все равно находили адресата, будто доставлялись невидимыми сказочными почтальонами, умеющими найти именно нужного Иванова среди миллионов однофамильцев. И Иваново теплое слово всегда уходило в ответный путь любви к ребячьим сердцам, питая его собственную душу живительной влагой человеческой мудрости и простоты правды, без которых настоящая литература невозможна.

Десятки публикаций в газетах и журналах Эстонии и России принадлежат перу автора предлагаемой вниманию читателей автобиографической повести в картинках «Трансвааль, Трансвааль...». С самой первой значительной вехи – с рассказа «Два Максимки», напечатанного в ленинградском журнале «Звезда» в 1966 году, началась литературная тропа длиной почти в тридцать лет, и привела она в 1995 году к порогу новгородской организации Союза писателей России с достаточно солидным багажом. Нет, не о статьях, не о зарисовках идет речь, а о полновесных писательских произведениях, написанных удивительно богатым, сочным русским языком, отмечающим лучшие творения современных русских писателей. Когда по канцелярской формальности при вступлении в главную писательскую организацию России ему предложили написать автобиографию, то вместо казенных и сухих строчек на бумаге стали появляться совсем другие слова и фразы...

Так было положено начало этой книге под необычным названием «Трансвааль, Трансвааль...», балладе о жизненном пути русского человека, звучащей на полузабытый мотив некогда в прошлом популярной песни, как непрекращающееся напоминание о том, что никуда не деться и не скрыться, даже оставив вдалеке родимую сторону, от духовитого аромата трав с примстинских лугов, от запаха деревенских сеновалов, от бескрайности великих русских просторов, от вековой тишины новгородского голубого неба, что никогда не заглушить в душе своей зова к истокам, к памяти, к корневой системе, к знанию, что есть куда вернуться. Когда в новгородской организации Союза писателей России приступили к обсуждению вопроса о приеме Ивана Иванова в члены литературного сообщества, одним из первых взял слово седой, как лунь, Дмитрий Балашов, замечательный русский писатель, составивший вместе с Валентином Пикулем и Владимиром Чивилихиным великолепную тройку в современной русской исторической художественной прозе. Он спешил к отъезду в загранкомандировку в составе писательской делегации России, но на обсуждение все же пришел и был краток: мол, примите мое слово в поддержку Иванова. Это значительное немногословие в рекомендации дорогого стоит... Новгородские веси и ставший близким сердцу эстонский Пярну будто слились за семьдесят с лишним лет в этом человеке в его неброской, но глубокой одаренности... 22 июня – жестокая отметина истории человечества. 22 июня – дата знаковая, как предтеча. Не случайно это небольшое вступление в произведение автора началось с упоминания о том, что именно в этот день родился русский писатель – «Иван-в-Квадрате», сын новгородского Мастака, умельца-мастерового, погибшего в первые месяцы войны пулеметчика, «цезарьский» сын крестьянский, трубадур ушедшего горемычного и богатого, бесправием полного и спра-

ведливого XX века. Он земляк новгородцам и земляк пярнуским стародавним знакомцам. Судьба у него такая – быть всякому человеку ближним. Как и сама Русь по сути и предназначению своему всегда старалась быть покровительницей страждущим утешения, хоть и не для всякого ей удавалось стать утешительницей и защитницей. О нем главный редактор петербургского журнала «Аврора» Э. Шевелев, предваряя в третьем номере 1996 года этого издания опубликованный рассказ автора, написал: «...Я назову фамилию этого человека. Простую и великую фамилию, какую носят тысячи и тысячи русских людей. Познакомьтесь ближе с одним из достойных носителей этой фамилии и его творчеством: Иванов. Иван Гаврилович Иванов. Иванов из Пярну. Гражданин России. Писатель России».

Так о чем же эта книга? О том, что помотавшись по морям, рыбарь Иона Веснин по-прежнему любя морские дали, вдруг вернулся в прошлое, к родной деревне и ощутил неразрывную связь времен? Да, об этом, но и о жизни, о настоящей жизни, друзья, такой каковой она на самом деле и есть, а значит, в конечном итоге, о нас с вами. О ней можно писать языком бездушной анкеты, но и тем мастерским слогом образов, уводящим нас в огромный мир чувств, ощущений и мыслей, который выдумать в его красоте и богатстве просто невозможно. А еще эта книга о родине. Забвение отчизны наступает для человека со смертью его. Потеря исторической памяти и родины живому же человеку душу мертвит. Оттого и завершает свою повесть писатель Иван Гаврилович Иванов словами о родине: «... как бы мне хорошо ни жилось на чужбине, но как только почувствую, что из меня истекла светлая память о Бегучей Реке моего Детства, надо мной скажут: Аминь, Иона Веснин, Аминь, дружище.»

Настоящее литературное слово дано произнести не каждому. Творение Ивана Гавриловича Иванова – емкое и, пожалуй, одно из самых значительных явлений в русской художественной прозе Эстонии за последние десятилетия.

*Владимир Илляшевич,
член Объединения русских литераторов Эстонии,
секретарь правления Союза писателей России.*

Глава 1 И приходят пароходы

Господи, будь милостивым...

Долго ль, скоро ль, наконец-таки и завершился затянувшийся «спаренный» рейс. Без малого целый год «пахали» рыбаки – без выходных и праздников. И что удивительно, прошел же он, как одни нескончаемые сутки с их строгими вахтами и постоянными подвахтами – в неизменной заботе: О Его Величество Плане! И в благостном бдении в коротких снах в немногие часы досуга, после тяжкого топтания и надсадного непотребного матерного ора на палубе о доме, дрыхая без задних ног в своих «космических ящиках: голова – ноги, ноги – голова».

Потом, как один миг, пролетели две недели в нелегком переходе океана по накатанной голубой дороге «Флорида – Новая Земля», в веселой компании расчудесного теплого течения Гольфстрим с его благодатной естественной скоростью 4–6 мили в час, которая была, как нельзя кстати, целебным допингом к натугам старого, латаного-перелатаного «корыта», СРТ-р «Кассари» (корсар, пират) с обросшим донельзя ракушками днищем – оттого и тихохода; и в сопровождении попутного ветра-молодца, в помощь которому были извлечены из трюмов все брезенты, а из них, смекалкой и ухарством разбитных мореходов-рыбарей, сотворены и подняты над судном мыслимые и немыслимые паруса.

По приветственным, как-то по-особому веселым гудкам встречных и обгоняющих судов, можно было догадаться, каким занятым зрелищем виделось со стороны, как «на всех парусах» чапает через океан донельзя облишаенный едучей ржой от соленой водицы бесстрашный «пират» с болтающимися железными ремонтными люльками по борту, в которых неуемно орудовали, на свой страх и риск, морские «разбойники» с металлическими скребками и щетками в руках. Это брадатая палубная братва все еще не напахалась сполна в рейсе, так вот, добирала *свое* на переходе к дому.

Зато за кормой трепетал новенький серпасто-молоткастый морской державный стяг, поднятый боцманом Али-Бабой по случаю перехода, взамен истрепавшемуся за рейс в выцветшие ленточки. Знайте, мол, наших!

Но похохатывали-то веселыми гудками мореходы вселенной, видно, оттого, что читали через бинокли на боках ремонтных люлек размашистые начертания белой краской – старания боцмана Али-Бабы с просьбой ко Всевышнему:

*«ГОСПОДИ БУДЬ МИЛОСТИВЫМ
КО СВОИМ – РАБАМ БОЖЬИМ!»*

И эта просьба ко Всевышнему была уместна, чтобы очиститься на переходе к дому от словесной скверны. Чего греха таить, без женского «общества», случается, что и грешат рыбаки в море, непотребно матерятся, как ради шутки, так и поделом...

Как вошли в Балтику, судовой пес Курат почти не покидал полубака. Сидел и точно впередсмотрящий вглядывался в туманную дымку. При этом все время чутко поводил носом. И, видно, когда улавливал запахи земли, вскакивал с насиженного места и принимался юрить¹ вокруг брашпиля, дурашливо взвизгивая.

¹ Юр – своеобразный пляс вокруг оси.

А на корме, на норовистом норд-весте, все трепетало и трепетало новенькое полотнище (специально сбереженное боцманом для последнего перехода) державного флага, который не переставал нашептывать команде: скоро... скоро, други мои, дом!

Совсем уже скоро. Пройдет еще одна ночь, и долгому тяжкому рейсу – конец: команда – по домам, судно – в док.

Накануне прихода вечером на сейнере было покончено со всеми палубными работами – прелюдией к капитальному ремонту. Что успели сделать на переходе – сделали, чего не успели – не сделали. И все-таки, когда оглянулись-огляделись, поняли: «Ай да, мы! Не мало сработали!» На бортах и стенках надстроек, на месте недавних ржавых лишаяев пламенели живительные суриковые заплатки. Перебрали весь такелаж. Да и по мелочам много чего переделали. А вот главную мачту покрасили набело зря, просто для форсу (ее все равно перекрасят при заводском ремонте). И тем не менее кажется, что она стала прямее и выше. А когда завтра утром на подходе к порту на ней запестреют вымпелы рыболовного флота, которые доложат на расстоянии о взятии двух планов, на берегу – шляпы долой! Затоптанная во время многодневного аврала промысловая деревянная палуба после ночного хлорового «компресса» отливала яичным желтком.

Сегодня с утра авралили в жилых помещениях, не жалея ни соды, ни мыла, ни рук своих. (Завтра к каждому придут в каюту самые дорогие гости.) И уже к обеду все блестело, что могло еще блестеть на старой посудине. У мужчин ведь так: если есть порядок, то он есть, если его нет, то его нет. Тут и к дьяку не ходи...

После полдника запарила баня. По коридору духовито потянуло родными березами. Это опять раскошелился рыжебородый боцман, у которого, казалось, и снегу зимой не выпросишь. Прозванный на судне за свое восточное обличие, хотя он был истый эстонец, Али-Бабой, он складно матерился по-русски, и безо всякого-то акцента, потом пошарил по своим тайникам, и такая мелочь, как березовый веник, нашлась. Непостижимо – целых полгода блюл! Но на то он и боцман, чтобы все беречь да хранить на судне до нужного часу.

Итак, жизнь на сейнере вышла на последний часовой круг. Что бы сейчас ни делалось, все в последний раз в этом рейсе.

После последнего ужина в салоне – столпотворение. На уют – очередь. К настенному зеркалу, перед которым кто пятипалым гребнем приручал к порядку одичавшие космы, кто чуть-чуть подравнивал себе бороду и усы, кто просто так стоял и гримасничал, узнавая и не узнавая свою, задубевшую на всех ветрах вселенной, бородатую физиономию, – не пробиться. Завтра все, кроме вахты, сойдут на берег нарядными, с роскошными шевелюрами и бородами-«шведками».

А пока не настанет это «завтра», в салоне до самого утра будут гонять чай. В эту бесконечно-благословенную ночь впервые за рейс не будет трепа про «бабс». А пойдет самый что ни есть благочестивый, без «выражений», разговор о невестах, сеструхах, женах. И, конечно же, вспомнят и о своих незабвенных «колорадских жуках», если они были у кого.

И еще будут без усталости расписывать друг перед другом, как они, «мужики-паиньки», чинно благородно проведут свои красные отгульные и отпускные деньки. И туда-то они махнут, и там-то они побывают! И непременно кто-то от переизбытка нахлынувших чувств рванет во всю голосину луженую-перелуженую: «Теплоходом, самолетом... потому что круглая земля». На самом же деле у кого-то все пойдет далеко не так. Да все-то наперекосяк, как только ступит на берег и в голову ударят живые запахи земли. Иного так заштормит, таким девятым валом накроет, что через неделю-вторую, во имя собственного спасения, он, сердяга, снова запросится в добрый для него «окиян-море». К тому же у некоторых женатиков давно составили свои планы их благоверные, по которым выходило примерно так: «Миленький мой, чем бить баклуши на берегу, лучше будет, если ты снова уйдешь в море... зарабатывать денежки!»

И кто-кто из бородачей так и последует жениному совету. Ну, а если вздумается потом раскаться, то для этого в море всегда будет время.

Такие вот пироги.

И приходят пароходы...

Все города смотрятся с моря красивыми и загадочными. Они неизъяснимо манят к себе моряков. Но это был особый для команды город – порт приписки. Сколько ниточек связывает каждого с ним, сколько у каждого завязано там узелков на память... И рыбакам, истосковавшимся по дому, он виделся таким родным и близким, что им начинало блазнить будто бы их судно покачивается не на ленивой зыби рейда, а на широко развернутых отчих ладонях. Город, утопая по самые медные шпили соборов в пышной зелени, был щедро залит полуденным июльским солнцем.

Команда вся уже при параде. И только кок в своей обычной белой куртке и высоком поварском колпаке, правда, сегодня особой, по случаю прихода, вытюжки. С таким же особым тщанием был выскоблен и камбуз. Идет последний обед. Сегодня все, что есть самое лучшее – на горячей плите, в холодильнике, кладовых (а об этом опытный, уважающий себя и команду кок позаботился заранее), все – на столе. Все – от души!

И брадатая братва в последний раз тоже говорила от души своему кормильцу прочувственные слова:

– Шеф, уважил! Спасибо!

А матрос Димка-Цыган, проходя мимо открытых дверей камбуза, не стал мелочиться, рванул во всю голосину:

– Я верю: любовь всегда права! – А это была наивысшая похвала коку. Будьте уверены, после никудышного обеда или на голодное чрево – такое никогда не запоемся моряку.

И все высыпают на палубу – снова глазеть на город. Сегодня никому не сидится в салоне. Да и неуютно в нем стало. Пусто. Ни книг на полках не видно, ни киноаппарата на столе нет. Все убрано в ящики, а ящики мастеровито, как умеют делать это только моряки, перевязаны новым капроновым фалом.

Но вот и последний обед закончен. В дверь камбуза заглянул старпом. При форсистой фуражке с золотым крабом над матовым козырьком, в наутюженной форменной тужурке, по локоть в «лыках», с надраенным до блеска «поплавком» на груди. Да такой бравый – всем морякам моряк! Так бы в полный рост и впечатать его в раму под стекло: на память.

– Шеф, ну, как тут у тебя? – озабоченно спросил он, придиричивым взглядом окидывая камбуз.

– Все в ажуре, Алексеич! – бодро отвечивал кок (нигде так – душевно, без фамильярничества – не произносится отчество, как на флоте).

Старпом, бог и судья для кока, сам видит, что на камбузе все в ажуре, но не говорит: присядь, голубчик, отдохни.

– Лад-нень-ко... Ну-ну, шустри! Шустри и помни, что сейчас к тебе пожалует санврач порта! – наставляет старпом кока в последний раз в этот рейс и отбывает к себе на мостик, уверенный, что его не подведут.

Наверное, ничто так не ценится в море, как мужская деловая надежность: если надо, разбейся в лепешку, а дело свои сотвори к сроку. Да как велит судовой Устав! Иначе тебе на судне – грош цена.

Почувствовался легкий толчок по корпусу, это привалил катер портнадзора. И вот уже на борт судна поднимается по пеньковому трапу первое береговое начальство. И тут же по мегафону последовала команда капитана:

– Всем собраться в салоне!

Бородачи, напирая друг на дружку, повалили в салон, а прибывшее начальство тотчас приступало к досмотру по всем службам. Спустились в машинное отделение, чтобы убедиться своими глазами, на месте ли стоит главный двигатель? Заглянули во все углы и закутки.

Прошлись по каютам, бесперемонно роясь в личных шмотках. Потом в салоне пересчитали команду по судовой роли, сверяя обличие каждого с фотографией в паспорте.

Со стороны поглядеть – вроде бы и за своих не принимали брадатых, но никто на рожон не лезет. Бородачи, как смогли, делали вид, что все понимают: порядок есть порядок!

И все-таки за последние часы томительного ожидания в них что-то перегорело. Словно бы уже и встреча – не в радость. Утомленные, присмирившие, они сидели в салоне и ждали: скорее бы кончалась эта затянувшаяся унижительная канитель.

Наконец досмотр завершен. Оказывается, всё на месте, всё в порядке. Нарушений тоже нет: всё по инструкции. И службы портнадзора, и команда судна как бы единой грудью облегченно вздыхают. Вот уже и суровость и непроницаемость спадают с должностных лиц, как темные покрывала с новых памятников. Оказывается, и должностные лица умеют улыбаться. Береговое начальство от имени Родины и себя лично поздравляет команду с благополучным приходом, благодарит за хорошо сработанное дело. С шутками-прибаутками желает морякам хорошего отдыха, здоровья и всяческого семейного счастья.

– Почему бы с этого было и не начать? – обиженно пробубнил старый матрос Гриня Мельник, где-то по-за спинами. Но его слов уже никто, не слышал, они потонули в возбужденном говоре.

Белый катер портнадзора, оставляя за собой пенный бурун, ходко удаляется от судна. И снова, кажется, остановилось время. Теперь команда с нетерпением ждет с берега «добро» на швартовку. Все молчат и с каким-то напряжением, до дрожи в плечах, вслушиваются: не запищит ли рация в рубке. Но вместо нее на огромной плавбазе, стоявшей у стенки, на всю катушку, словно назло, грянула радиола:

– «И уходят пароходы...» – разнеслось по всему рейду.

– Заразы! – процедил кто-то сквозь зубы.

И вдруг перекатным весенним громом пророкотал голос капитана:

– Боцман, выбрать якорь!

– Вот это уже другая песня! – радостно откликается боцман Али-Баба в широкой ковбойской рубашке и с повязанным по-пиратски голубым платком на шее. Пружинистыми прыжками он взлетает на полубак к брашпилю. За ним, взлаивая, устремляется и судовой пес Курат – по случаю «прихода» при настоящей «бабочке» вместо ошейника.

Заработала якорная лебедка. Погремела-погремела и стихла. Вот и якорь выбран в последний раз. Даже становится как-то грустно от мысли, что пройдет совсем немного времени и нарушится это хорошо отлаженное мужское сообщество. В новом рейсе надо будет начинать все сначала.

И опять торжественно и строго гремит голос капитана:

– Машина, малый вперед! Палубной команде приготовиться к швартовке!

Кажется, уже не судно идет на сближение с берегом, а бетонный пирс с башенными краями и складскими сооружениями неотвратно надвигается на сейнер.

Между огромной базой и судном виднелась толпа встречающихся, похожая издали на колыхавшуюся пеструю ленту.

– Братцы, ну и встречу готовят нам! – доносил с верхнего мостика убежденный холостяк, третий штурман, нацелив на пирс двенадцатикратный бинокль. – Сегодня нас ожидает двойная музыка. Трубачи и гусарочки-барабанщицы будут играть для нас!

– По чину и шапка, – как о само собой разумеющемся буркнул старый матрос Гриня Мельник.

На палубе все разом, словно во команде, подняли головы и посмотрели на мачту, где трепыхались вымпелы рыболовного флота, которые рапортовали берегу о проделанной работе: есть два плана!

– Думать надо, с таким уловом теперь не каждому рыбаку фартит прийти домой, – продолжал Мельник. – Чего скрывать, рыбки-то в океане все меньше и меньше становится. Потому-то и двойная музыка!

Теперь уже и без бинокля можно было разглядеть, что впереди музыкантов-духовиков расположился ровный строй, как на подбор, девушек-барабанщиц в коротких черных юбках и бордовых сюртуках. Головы их украшали высокие малиновые кивера. На начищенных ободьях красных барабанов с белыми верхами игриво прыгали солнечные зайчики.

– А талии-то, а ножки-то какие, братцы вы мои! – взхлеб докладывал с верхнего мостика третий штурман, не отрываясь от бинокля.

– Прекратить тарабарщину! – с придыхом рывкнул капитан вполголоса, чтобы не слышали на берегу.

Восторги третьего штурмана, прямо скажем, были неуместны. Хотя бы потому, что швартовка в порту – дело не шуточное, тут и до беды недолго у мира на виду. К тому же сейчас никого не интересовали барышни с красными барабанами. Взоры всех были обращены только на праздничную толпу встречающих. Каждый отыскивал – только те глаза, которые смотрели на него, и ни кого более. Но за букетами цветов, которыми махали встречающие, все еще нельзя было разглядеть лица. А может, у самих моряков туманились глаза.

Сейнер шел на сближение с пирсом – то самым малым вперед, то самым полным отработывал назад. Не так-то просто было вклиниться в прогал между судами.

– Смотрите, смотрите, – удивленно зашептал судовой электрик Веня, – Светка Димки-Цыгана пришла... Вона, с моей Ангелинкой стоят!

– А куда ж она, по-твоему, должна была деться? – посетовал Гриня Мельник. – Мало ль наших писем разыскивают нас по промыслам. В порту сунут письмо не в тот мешок, а потом рыбарь – майся в море.

Матрос Димка-Цыган оказался единственным, кто не получил из последней большой почты ни одного письма, и всем стало сразу как-то радостно за своего кореша, что у него оказалось «все в порядке»!

Сам же Димка вряд ли видел свою возлюбленную. Не до того ему сейчас было. Красуясь своей кучеряво-смолистой бородой-путанкой перед нарядной толпой на пирсе, он стоял на самом носу судна с выброской в руках, как молодой бог, вознамерившийся заарканить бегущее белое облако над головой.

И опять послышался шепот:

– Шеф, – это кто-то уже обращался к коку, который тоже выбрал минуту выбежать на палубу, – не видишь, тебе машет твоя Кнопка?!

И верно, Иона Веснин только сейчас увидел свою жену. Все шарил взглядом по краям толпы, а она, маленькая, ладная выставилась в самом центре на переднем плане.

– Ну и крохотуля у нашего шефа! – изумился электрик Веня.

Над ним, ерничая, тихо посмеялся Гриня Мельник:

– За большой-то пень, знаешь, зачем ходют? – И сделал внушение. – Помни, молодой, маленький пирожок – никогда не приестся.

И другие не утерпели, чтобы не «вложить» ума молодому:

– Надо полагать, – не торопясь, степенно излагал акустик Вася-Младенец, лыбясь своей безвинной детской улыбочкой. – У нашего шефа в жизни все вышло по-французски: вздумает искать жену в кровати, а находит ее в складках мятой простыни.

– Жена – большая или маленькая, красивая или уродина – все от Бога, братцы, – глубокомысленно, с хитринкой вставил дриф Николай Оя. – Другое дело подарочек от сатаны – любовница. Вот тут, чтобы все было при ней – и рост, и фигура-«гитара», и смазливость.

– Надо полагать, – подыгрывая акустику и дрейфу, хохотнул Гриня Мельник. – Сатана успел-таки снять сливки со смазливости-то. На тебе, боже, что мне не гоже, – хлебай снятое молочко, а то еще и разведенное водицей.

И все эти перешептывания, хихиканья, вздохи, ахи на палубе и на верхнем мостике, как обухом, перешибил властным басом седой капитан:

– Выброску!

И вот уже Димка-Цыган, будто ковбой, бросающий лассо, сильно и красиво кидает с носа судна тонкий капроновый фал с вплетенным свинцовым грузиком на конце. На пирсе выброску ловит старый береговой матрос в такой же старой, как и он, капитанской фуражке, но еще ладно сидевшей на седой голове. Он расторопно выбирает за фал, плюхнувший в воду, тяжелый швартовый конец и его «петлю» тут же накидывает на причальную чугунную тумбу. И в этот самый момент, сотрясая нагретый воздух и пугая бранчливых чаек, грянули трубы оркестра. Разряженная толпа тоже взорвалась радостными возгласами.

Гриня Мельник потрянул за плечи стоявшего рядом электрика и, не стыдясь своей душевной слабости, прослезился:

– Венька, паразит ты этакий... Да знаешь ли ты, магнитная твоя душа, может, только ради этой *музыки* и в море-то я хожу... Человеком себя чувствуешь!

Для дяди Гриши, как он сам уверял всех, это был последний рейс. Отпахал свое Григорий Мельник. Потому-то, видно, и было трудно расставаться ему с морем. Только черта с два, никуда от него ему не деться. Гриня Мельник – вечный моряк, даже и тогда, когда не будет ходить в море.

Не у одного Григория Мельника першило в горле от гремевшей в порту музыки. Ее сейчас слышал и переживал каждый по-своему. Тому же Ионе Веснину она всякий раз, летом ли, зимой ли, напоминала все один и тот же далекий весенний день.

Подкова на счастье

...Было воскресенье. Вот так же щедро, только по-весеннему, светило солнце. Где-то поблизости играла духовая музыка. Только вместо чаек драли глотки брачные грачи. Военные моряки, среди которых был и он, старшина второй статьи Иона Веснин, вместе с ленинградскими парнями и девчатами убрали один из парков на Васильевском острове. И вот, работавшая неподалеку с ним девчушка возьми да и выгребни из-под сиреневого куста – на потеху всем – ржавую подкову.

– Свадьба! Горько! – закричали кругом. И так как девчушка была ближе всех к Веснину, то и посмотрели все на него. Будто он «расковался» на счастье этой пигалице с короткими косичками вразлет.

Потом они разговорились. Девчушка назвалась Алей. И младше-то она оказалась всего лишь ничего... Просто уродилась такой маленькой. Держалась же перед ним независимо. Даже с каким-то вызовом: такая я, мол, бой-девчонка! И без умолку тараторила:

– Из эвакуации нас привезли в Ленинград уже большими! Я уже семилетку кончила! Богатыми – невестами с приданым – приехали! В детдоме нам подарили по новому одеялу и полному комплекту постельного белья. Это было осенью, на второй день нашего приезда праздновали победу над Японией. Мы с подружками побежали на Дворцовую площадь смотреть салют. И там, под огненным дождем, я впервые в жизни танцевала по-взрослому. Правда, только – девчонка с девчонкой. И все равно, это был самый счастливый день, который я помню! – рассказывала она о себе весело.

И тут же перескакивала на другое. И уже с грустью говорила:

– Помню, пришла на свою улицу, а там, где стоял наш дом, – гора битого кирпича, заросшего крапивой: Как это она умудрялась там расти? Вот стою и думаю: «Мамке-то как тяжело лежать там внизу...» Мы жили на первом этаже. Хочу заплакать, а слез нету...

И она опять спохватывается, что рассказывает не по порядку:

– Ой, а как мы в сорок первом уплывали от войны... Сперва нас, детей, собрали в школе... Додержали там до темноты и потом на машинах вывезли за город, куда-то к Неве, где посадили на деревянные баржи с крышами. А чтобы мы не плакали по нашим мамам, нам сказали, что мы поплывем куда-то в пионерский лагерь. Только он очень далеко, а как только отдохнем там – и война кончится.

Спать улеглись прямо на солому, разбросанную по всему дну баржи. Это нам, перво-четырехклашкам, всем здорово понравилось. Прижались друг к дружке, прислушиваемся к всплескам воды, а сами – все шепчемся о том, как будем отдыхать без наших мам и пап...

В том далеком пионерском лагере – в Татарии мы пробыли до осени сорок пятого. Но туда надо было еще доплыть, доехать...

Девчонка помрачнела и тяжело вздохнула, словно раздумывая: стоит ли ворошить пережитое? И, поборов себя, продолжила дрогнувшим голосом:

– Уже на другое утро, когда мы еще спали, перед Волховстроем, нас обстреляли «мессеры». Видно, немецкие летчики подумали, что куда-то перевозят красноармейцев. И сразу же из пробитого пулями дна баржи зафырчала вода, как из открытых водопроводных кранов. Одна воспитательница с перепугу схватила свои узлы с пожитками и побежала к люку-выходу: не разбирая, куда ступить, по нам, детям. Некоторые из нас, кто был убит, молчали, остальные – раненые и живые – в голос кричали и каждый звал свою маму... И мы, наверное, утонули бы, но на буксире догадались причалить к берегу, где мы сели на мель. И нас тут же вынесли на руках бойцы, идущие колонной к фронту. А дальше, что было – этого невозможно все в точности рассказать. Это можно только пережить. Кому суждено было пережить.

Аля доверительно посмотрела в лицо своему «расковавшемуся суженому»:

– Может, не стоит этого ворошить? – Моряк, не найдясь, что ответит, смолчал. И она поставила перед ним условие: – Тогда отойдем в сторону. Я не хочу, чтоб девчонки видели, что я женихаюсь с матросами. – И отбрила: – Чихать я хотела на вас, бабников!

Они отошли грести листья в дальний угол парка. По дороге Аля, украдкой смахнув набежавшие слезы с глаз, пригрозила:

– Если целоваться полезешь, сразу получишь по мордам. Это у нас, детдомовских девочек, не заржавеет! И не перебивай, этого я не терплю!

«Гляди-ка, какие бывают на свете – наядные восогрызки?!» – посмеялся про себя словами своей бабки Груши – покойницы, мастерицы на меткое словцо, хваткий, всем морякам моряк, но с условиям бой-девчонки, видно, согласился. А та, как ни в чем не бывало, продолжила свою прерванную исповедь:

– От волховских береговых берез, в реве недоенных коров, нас понесла в глубь страны уже беженская река. Сперва мы ехали, будто на отлетающих «журавлях», на немазанных скрипучих телегах. Потом где-то в лесном тупике нас пересадили в «телятники», где бойцы-старики на крышах вагонов рисовали красные кресты. Сказали, что нас теперь не будут обстреливать фашисты. И накаркали на нашу голову. На второй день, на станции Малая-Вишера они разбабахали наш поезд, думая, что в тыл везут раненых бойцов. И на этот раз нам повезло. Мы ждали паровоз и в эти часы ходили в баню. Нас срочно разместили в школе, где жили несколько дней. Потом снова посадили, хотя и в старые, но уже в пассажирские вагоны. И поехали дальше – на восход солнца. И ехали долго, все с какими-то приключениями: то паровоз сломался, то уголь кончился.

В конце сентября мы оказались в Рыбинске. Наши воспитатели думали, что зимовать останемся. Но не тут-то было. После каких-то недельных выяснений нас пересадили на дебаркадер, старую плавучую двухэтажную пристань, и мы поплыли на буксире – вниз по матушке, по Волге. Сколько разных больших городов проплыли: Ярославль, Кострома, Горький, Чебоксары, Казань. А мы все путешествуем на нашем растрепанном дебаркадере: где-то ночью проходя под мостом нам начисто снесло крышу. И это было во время дождей. Господи, чего ж только не натерпелись...

Так уж подгадалось, утром 7 ноября мы повернули на Каму. По широкой реке уже плыли льдины. Как нам сказали: «Письма с Уральских гор». Буксир отказался дальше следовать. Причалил наш дебаркадер к заснеженному берегу какого-то городка, а сам прощально трубя, ушел куда-то в затон на зимовку.

Хотелось нам побегать по земле, поиграть в снежки, но были почти раздетые и босые: в раздрызганных сандалях и туфельках. И одежда на нас – летняя. Ведь из дома-то уезжали в «пионерский лагерь». Зато, ради праздника, дали по печенине. Но прежде попросили, чтоб мы сходили на палубу, вытрясли рубахи и платья от вшей. Мы, девчонки-дуры, выскакивали на мороз. Мальчишки же отказались, сказали: «Все равно дадут!»

Наша главная воспитательница, красивая Римма Петровна, ходила в город, куда-то звонить.

К вечеру к нам подошел, громко трубя белый двухколесный пароход «Александр Пархоменко», словно спасая «челюскинцев». Девки-матросы навели сходни на наш дебаркадер и нам позволили перебраться в их теплый и светлый дом на водных колесах, где накормили ужином, напоили чаем и уложили спать в каютах на трехъярусных койках. Внизу «маленькие» – первоклашки, девчонки на среднем ярусе расположились, мальчишки полезли на верхотуру. Но до коек мы добрались не сразу. Прежде нас по очереди пропустили через санпропускник, пока мы мылись в душе, одежды и все пожитки наши прожаривались в газовых «душегубках».

(Оказалось, что этот белый пароход, только тем и занимался, что развозил по рекам бедных людей – Великой Беженской страны...)

Утром же проснулись от «оглушительной», до боли в ушах, тишины. Белый пароход, потихоньку пыхтя, смиренно стоял рядом с обрывистым берегом на расстоянии поставленных сходен. В обед объявили, что за нами скоро приедут, а пароход – вмерз в лед. И верно, вскоре мы увидели через пароходные круглые окошечки много санных упряжек на берегу под высокими соснами. Около розвальней прохаживались усатые старики в шубах и смешных шапках – ушами назад. На спины мохноногих лошадей были накинута тулупы.

На пароходе поднялась суматоха – начались сборы, хотя собирать нам было решительно нечего. Хоть разрешили укрыться пароходными байковыми одеялами. Но только до саней! И группами по пятеро нас стали выводить на мороз. Наш возница с густым инеем на вислых усах, взбивая сено в широких розвальнях, увидев нас, испуганно зацокал языком:

– ... быстро ложись на сено – мороз кусай нос!

Перед тем, как нам упасть в розвальни, провожавшая девка-матрос успела сорвать с наших плеч пароходные одеяла. А тут еще и старик, цокая, сердито кричит:

– ... быстро разувайсь – мороз кусай ноги! – И тут же, стащив со спины лошади нагретый огромный тулуп, накрыл нас, словно крышей, сорванной мостом с нашего дебаркадера.

Мы – ни живы, ни мертвы – прижимались друг к другу, но не плачем. Видно с перепугу было не догадаться жаловаться кому-то. А может, оттого и не плакали, что некому было жаловаться. А тут еще слышим голос старика, как из подземелья:

– Матур кэзлар (не зная, что бы это значит, но как-то догадываемся, что про нас девчонок: «горемыки или красавицы»), не бойсь, старый бабай шшупать щас будет!

Мы не успели еще испугаться, как отворотился край тулупа и к нам уже тянутся руки старика... А в них – лепешки... Да не простые – теплые! Видно, вынутые из-за пазухи:

– Ешьте, грейтесь, да поехали в Мамадыш... К моей аби Альфия поедем... Она байню для вас топит... Чай будем пить – с малиной и медом... И на печке спать уложит, – слышался из темноты голос.

Казалось, что мы его, дедулю с «обмороженными» усами, видим через тулуп, который кружил вокруг розвальней, подтыкая сено, чтобы не поддувало.

Но вот заскрипели полозья, поехали! И тут послышался над нашими головами стук кнутовища по тулупу:

– Эй вы, матур кэзлар, а тепер пойте песни. Да громче, чтоб старый бабай знал, что вы живы!

А мы, уже немного согрелись от тулупа и теплых лепешек и рады стараться хоть чем-то услужить «дедулочке», запели довоенную любимую песню:

*Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокой берег на крутой.*

Да еще и припев придумали:

*Мамадыш, наш Мамадыш,
Мама, мама, Мамадыш!*

– Корошо поете, матур кэзлар! – как бы подпевал нам наш возница, добрый бабай. – В Мамадыш, к Альфии едем... Но-о, родные, но-о!..

Аля, делая вид, что устала, оперлась, сбочась, на грабловище и, как бы между прочим, глубоко вздохнула:

– Такой и втемяшилась в меня – моя Татария: вкусными лепешками и теплым тулупом, пахнущим лошадьми и луком. Этих запахов я не знала, живя в Ленинграде. – Она настороженно уставилась на своего прилежного слушателя и в упор спросила: – А ты, случайно, не смеешься надо мной?

– С чего бы это!?

– Да, хотя б с того, что я еще никому не рассказывала о себе так подробно... – И тут же вопрос в упор: – А о чем ты сейчас думаешь?

– О том, какое красивое слово Мамадыш! Чем-то похожее на тебя. Я буду называть тебя так: Мамадыш!

– Еще чего не хватало! – возмутилась Аля, сердито сдувая углом рта темнорусый кудряшек, сползший на глаза. – Там, где я пережидала войну, никому и в голову не приходило так называть девочнок. Это всего лишь маленький городок – деревня с резными синими наличниками.

– Вот и я говорю про то: мал золотник да дорог! – трепался моряк.

– Глупости все! – отмахнулась Аля. – Я лучше расскажу, как мы ходили на молокозавод за обратом для детдома... Это было не близко. Четыре километра, но от желающих не было отбоя. Там нам давали вволю пить сыворотку, которую сливали в чаны для поросят на ферме. Из своих сверстников я была меньше всех ростом, поэтому меня никто не хотел брать себе в пару нести ведро.

Однажды, уже весной сорок второго, я все-таки напросилась – взяли и меня. И вот идем уже назад, с сыворотки попеваем песенки и на нас, на запах обрата, напали голодные свиньи. Как телки высокие, хвостатые и с очень длинными рылами. Таких страшил я потом нигде больше не видела, даже в кино. Я испугалась, выпустила из рук дужку ведра и весь обрат у нас вылился на землю. За эту провинность потом меня долго не посылали на молокозавод...

По окончании воскресника балтиец отпросился у своего старшего их команды – в «самоволку» на недолго. Он решил проводить девочку. Нет он не влюбился в нее. Его просто родило с ней свое военное сиротство в зоне выжженной земли Волховского фронта.

В общежитии у Калинкиного моста Алю ждала новость. Ее объявила сама комендантша, видно, из довоенных колхозных бригадирш:

– Девонька, днешь, очистили тебя тут какие-то лихоимцы.

– Как очистили? – еще не совсем понимая, переспросила Аля.

– Да так, очистили – и вся недолга.

– И приданное детдома? – наконец ужаснулась пострадавшая.

– Не говори, девонька, ободрали, как липку. Вот какая вышла у нас кулемесь, пока ты гребла «за так» прошлогоднюю траву.

Аля, видно, поверив в случившееся, горько зашептала:

– Вот тебе и подкова – на счастье!?

Балтийца удивило, что девочка не заплакала от большой для нее утраты. Он тоже немало перевидел всякого лиха в прифронтовой деревне, живя с бабкой в сырой землянке. Тоже, помнится, не часто хныкал, когда приходилось туго... Но тогда была война. К тому же он был мальчишкой.

«А сейчас-то, – думал он, – сейчас-то уже мирное время... И не может быть такого, чтобы девочка не заплакала по украденному приданному, которое хранила непочатым в самодельном чемодане...»

Бравый флотский почувствовал, что в нем что-то сдвинулось. Он схватил девочку за плечи и встряхнул, словно хотел выплеснуть из нее слезы. А когда и это не помогло, он вдруг заговорил о том, о чем – еще минутой назад – и не помышлял:

– Ты хоть догадываешься, зачем я отпросился у своего мичмана? Так вот знай, подкову-то ты нашла – не зря! Я поехал с тобой, чтоб сказать: женюсь на тебе, Алька!

Она подняла свои большие синие глаза, внимательно, даже зло, посмотрела на разошедшего моряка и с беспощадностью отбрила:

– Такие жалостливые красавцы не женятся на детдомовских невестах!

За такую, подобную дерзость балтиец, наверняка, дал бы шлепка бой-девчонке, будь она, хотя б чуток повыше ростом. Но и совсем безнаказанным нельзя было оставить это. Моряк в сердцах сграбастал девчонку, на этот раз ухватив ладонями за ее стрекозину талию – и, не соизмерив своей силы, поднял строптивицу над головой с легкостью бутафорской штанги. Да еще и покрутил ею, для острастки, туда-сюда, чем несказанно восхитил ее подружек:

– Ой, интересно-то как...

– Как в балете!

Когда же он поставил на ноги дерзкую девчущку, то увидел, что и она умеет плакать:

– А ты не свистишь, что ты?.. – и не осмелившись сказать вслух заветное – для каждой девчонки – слово, Аля всхлипнула.

– Если сейчас еще такое скажешь, ей-ей, отшлепаю! – пригрозил решительно настроенный балтиец.

И бой-девчонка, видно, враз поняла, что ладный моряк не «свистит». По-детски размазывая по щекам искренние слезы, она рассмеялась, вытаскивая из-за пазухи свою бесценную ржавую находку, выгребленную ею из-под сиреневого куста Василеостровского парка:

– А подкову-то я не выкинула.

– Вот и вся любовь! – только и всего, что нашелся сказать Иона, обнимая и целуя при свидетелях свою неожиданно-негаданную невесту на зависть ее подружек, блокадных детдомовок.

– Ой, матушки, ну, как в кино! – всплеснула руками растроганная комендантша. И заглаживая свою вину по недогляду в своем хлопотном хозяйстве, изрекла истину для своих подопечных молодых постояльцев: – В жизни-то, девоньки, всегда так и бывает: никогда не знаешь, где что потеряешь и где, что найдешь...

Музыка, которую можно только заработать...

Над портом, в безоблачном небе, кричали чайки, потревоженные звонкой медью, а коку Иону Веснину, стоявшему среди своих товарищей на палубе сейнера, все слышался тот же далекий грай весенних грачей. Перед его глазами была Аля, маленькая и ладная, точь-в-точь, как и та прежняя бой-девчонка с подковой в руке... Она стояла в самом центре празднично разодетой толпы на пирсе и махала ему цветами.

Судно медленно надвигалось на несокрушимый бетонный пирс. Казалось, вот-вот произойдет что-то непоправимое. Но стоило взглянуть на седого капитана с волевым лицом, отдающего с крыла рубки короткие команды, и на матроса-хвата Димку-Цыгана, быстро выбиравшего слабину швартового конца, и чувство «непоправимости» тут же улетучивалось.

– Закрепить швартов! – отрывисто звучит голос капитана.

– Есть закрепить швартов! – четко отвечает матрос и сноровисто, (оттого и красиво!) несколькими перевитыми «восьмерками» намертво крепит на парных кнехтах пеньковый конец.

Судно, теперь уже отрабатывая назад, походит на заарканенного дикого зверя. Оно еще брыкается, но чувствуя, что деться ему некуда, смиряясь, становятся послушным и медленно прибавляется кормой к бетонной стенке. Вытянутый в струнку, новый пеньковый конец потрескивая звенит, волосатится, источая редкий сизый дымок. Сейчас лучше отойти в сторону – береженого и Бог бережет. Встал поодаль от брашпиля, по-моряцки широко расставив ноги, а затем еще и подбоченился, что получилось у него приглядно. И лишь только тогда он с каким-то превосходством соизволил себе взглянуть на береговую толпу. И сразу встретился глазами с молодой белокурой особой, от чего в его смолистой бороде, будто молния, сверкнула искристая улыбка.

Пес Курат, не дожидаясь, когда бородачи наведут с борта на пирс трап, первым спрыгнул на долгожданную землю, и тут же, на бетонных плитах повалился на спине. Конечно, на травке было бы лучше, но что делать, если ее не было здесь... И только после этого обязательного ритуала при встрече с родной землей, он со звонким лаем кинулся к гостевой толпе. И ни к кому-то, а к жене кока. Непостижимо! Оказывается Аля жила в нем своими запахами через его кормильца, на что еще ревниво заметила модная капитанша, обойденная вниманием парходной собачки:

– Теперь ясно, кто его лучше всех привечал на пароходе...

Зашипела судовая рация, известив:

– Команде, построиться на палубе для торжественной встречи! – Это была последняя команда капитана на судне в долгом и многотрудном рейсе.

Бисерно просыпалась барабанная дробь заздравно-приветственного туша, под шумок которого послышался веселый, взхлеб, хохоток третьего штурмана-сердцеда, стоявшего на палубе в свободном построении:

– Гляди-ка, гляди, как гусарочки-то, барабанщицы-то... сучат своими точеными ножками. Аж искры летят с их румяных колешек!

– Ну, Родион, однако ж и юбочник ты! – с осуждением пристыдил штурмана старый матрос Мельник. – Тебе только б и забот-делов, как неустанно лицезреть на девичьи колешки. Будто на них узоры какие нарисованы? Ты б лучше вслухался в музыку. Такую, брат, не закажешь в ресторане, хоть карман тресни по швам от шальных деньжищ. Ее можно только заработать собственной хребтиной.

Третий штурман хотел было сострить, но на него зашикали, так как полились – через край – заздравные речи берегового начальства... И каждый дядя с пылающим здоровьем загривком старался похвалить их, какие они, мол, молодцы! Усатая тетя от женсовета назвала их

еще и «удальцами». А «молодцы-удальцы», обветренные и просоленные на далеких широтах и меридианах, только делали вид, что внемлют слащавым здравицам о *себе*. На самом же деле они стояли, как оглушенные, ничего не слыша и не понимая, лишь ждали одного: поскорее бы закруглялась эта затянувшаяся краснобайская канитель. Им сейчас с нетерпением хотелось одного – обнять своих родных, близких и друзей.

Потом начались награды и дарение цветов, а это было уже веселее... Будто бы откуда-то издалека донесшую, услышал свою фамилию и судовой кок, чему не мало удивился вслух:

– И мне!?

– И вам, Иона Гаврилыч! – зычно подтвердил хорошо поставленным голосом руководитель «Рыбкиной» конторы. – За ваше чуткое бережение команды...

– Bravo, bravo! – дружно подхватила разнаряженная толпа, сбившаяся перед трапом.

Если о ком-то из команды и знают много дома из писем мореманов, то это о коке. Кормилце их великовозрастных чад, мужей, пап, братьев, которые в каждом письме к родичам вспоминали о нем, вынося ему выверенный через свое чувствительное чрево вердикт в двух полярных ипостасях: «плохой или «хороший».

А перед виновником торжественной минуты уже предстала в ярком национальном наряде белокурая молодая дева, будто сама мисс Эстония, преподнесла ему – в низком поклоне – на тарелочке с голубой каемкой конверт с размашистой, наискось, надписью: «Вскрыть дома!» И он еще про себя отметил: «Видно, чтобы не все радости сразу».

И вот, стоя на палубе с охапкой цветов, обалдевший рыбарь, чтобы не разворотило его изнутри от переизбытка положительных эмоций, взбрыкнул дурашливым жеребенком и – в два прыжка – оказался на пирсе. А затем, в том же обалдении, предстал перед барабанщицами-гусарочками, продолжавших уже в честь его сеять бисер в торжественном туше. И сами с прикусами нижних губ усмешливо наблюдали зачокнутым от телячьих радостей мореманом в ожидании: что дальше будет?

А «чокнутый» рыбарь и на самом деле не знал, как ему было поступить? Хотел – от души! – одарить их цветами и не знал, как это сделать, если руки барабанщиц были заняты играющими палочками. И тут на него накатило блажью... Всю охапку дарственных цветов, заработанных в таких тяжелых трудах, будто отпетый картежник, как новую колоду, он распустил к ногам танцующих.

– Bravo! – вторично взорвалась разнаряженная толпа встречающих.

Тут уж и трубачи не подкачали. Тоже выдали от душина мотив: «Ваше Благородие, госпожа Удача!»

Да так, аж мелкая рябь пошла по заливу...

Глава 2

К теплому морю, или Адаптация

– А, проснулся? Вот и хорошо! – обрадовалась Аля. Она только мельком заглянула в спальню: показалось, какая же у нее опять роскошная прическа. Вчерашняя, с которой она встречала в порту мужа, после долгого его плавания в море, была им порушена в ночи, как город большим землетрясением.

Изгибаясь под ношей авосек, Аля тут же прошла на кухню, оставляя за собой густой шлейф запахов свежей овощной снеди. Оказывается, она уже успела побывать не только в парикмахерской, но и на базаре. Обостренное за долгое нахождение в море обоняние мужа-гостя на расстоянии улавливало запахи земли, и он включился в игру угадывания, к чему, еще в ребячестве, приохотил его отец. Бывало идут вдоль реки и он, как бы невзначай спросит: «Сынка, а ну, быстро ответь: какая сейчас рыбина брызнулась на перекате?» Или вышли на лесную солнечную поляну – и опять загадка: «Какая «кашка» тут вкуснее других варится?»

К тому же, не надо забывать, он ходил в море судовым коком, а это равно королевскому повару. «Так пахнет – свежо и горьковато – уже головастый лук-зеленец. А ядерн-то, ядерн! Скрипит, будто новая португеза на молоденьком лейтенанте... А так разливается разгаром лета петрушка в одном пучке с сельдереем, перистым чесноком и цветущим укропом (аж невольно поманило на свежие разносолы)». И тут его обарило таким знакомым духом земли, который он не спутал бы ни с чем. Даже во сне: «Смородина!.. И пахнет-то, зараза, как всегда: родиной, детством и надвигающейся грозой...»

И он, словно бы в яви, услышал донесшийся откуда-то из небытия, казалось, уже давно и напрочь забытый голос любимой бабки Груши-покойницы: «О, како, смородина-то в подоконье распричиналась своим духом, аж пьянит голову. К дождю однако... Зато в ночи-то и разламывало поясницу».

И рыбарю дальнего заплыва, как случилось с ним однажды в этом, последнем двойном-«спаренном» рейсе, который длился почти год, от ностальгии по родным местам нестерпимо захотелось походить босиком по росной траве с удой в руке. И он еще дал себе что-то вроде обета: «По приходу домой – сразу же махну к себе на родину малую...»

Ребячью игру долгожданного гостя нарушила жена. Она стояла в дверях спальни, аппетитно хрустя свежеспахучим пупыристым огурцом, держа его в пальцах, будто рюмочку, вычурно оттопырив мизинец.

– Ива (она так называла мужа, находясь в приподнятом настроении), я ведь уже все уладила с твоими зубами. Только вот срочность в наше время, оказывается, не такая уж дешевая девка... Так что не сердись, мой миленький, пришлось с утра пораньше раскошелиться твоими заморскими подарками. Своей новой подруге за то, что свела меня с «зубником», дала банку чая, самому «зубнику» – отвалила японский зонтик. Да еще и кочевряжился, вымогатель несчастный... Фигу бы ему с маком! Ну, да Бог с ним, с этим зонтиком.

Аля прижала к груди руки, молитвенно шепча:

– Наконец-то, хоть раз, как люди, побуду у Теплового моря. – И, кружась, искренне помечтала: – Может, там, в новой благодати, Боженька милостивый спешит нам гулю... И хорошо б – сыночка!

У рыбаря же от упоминания о море (на сегодня было, как о каторге) вырвался болезненный стон. Жена своими радостями рушила его, выстрадавшую в далекой дали от дома, ностальгическую голубую мечту: искупаться в Бегучей Реке Детства... Только-то всех желаний и было у него!

Мог бы он высказать ей нелестно и об их, видно, теперь недоступной – ни за какие богатства, «гуле». Была она в тебе, мол, зачата да – сплыла. Пока я «пахал» в море, в один из рейсов, ты, глядя на своих шустрых крашенных подруг, самовольно решила: «Молодые годы – пожить для себя, без семейной докуки...» Так что тебе, милая женушка, уповать на Боженьку – большой грех...

Но он сдержался. А первый день по приходу с моря рыбарь дальнего заплыва на берегу – добр и не злопамятен. К тому же над его ухом еще не остыл знакомый-перезнакомый жаркий шепот, услышанный на рассвете:

– Да проснись же ты, Ивушка-Зеленая! Ты даже и не догадываешься, как я люблю тебя...

На него смотрели, распахнутые настезь, сияющие радостью, большие глаза жены, в которых он, во время штормовых бдений, часто мысленно, купался, как во Мсте – реке своего детства. «Ты?!» – как бы спросил он удивленным взглядом спросонья, что не ускользнуло от Али:

– Здра-асте! – рассмеялась она. – Вот и доходился моряк в море, что уже и законную жену не узнает.

Маленькая и ладная, она сидела на краю широченной кровати, запахнувшись в ненашенский халат василькового цвета. А убедившись, что муж наконец-то очухался от хмельного угара по случаю прихода с моря, соскочила с кровати, расшвыряв на стороны шлепанцы с белыми помпонами, стала выделывать на мягком ковре замысловатые коленцы, помахивая над головой голубым конвертом, который узнал муж.

И его вернуло в день вчерашний. Когда в Рыбном порту, над массивным бетонным пирсом, запруженным нарядной толпой встречающих, торжественно гремела надраенная медь труб и литавр, а ему, рыбарю дальнего заплыва, обалдевшему от большой трудовой чести, белокурая дива дарит на тарелочке с голубой каемкой таинственный конверт с надписью: «Вскрыть дома!»

И вот он был вскрыт. На этот единоличный шаг Алю видно подбило загадочно-ломкое похрустывание, очень похожее на шуршание новеньких крупных купюр. Вот не смогла сдержаться – и все тут!

– Ну, что там? – с напускным равнодушием спросил муж.

– Отгадай! – Аля по-детски спрятала конверт за спину и выбежала на кухню, откуда вернулась тотчас, неся в руках расплескивающуюся рюмку с коньяком, чем несказанно удивила мужа.

– Ну, мать, ну, голуба ты моя! Да только ради этого можно разок сходить попахать в море, хотя б на полгода. Твой поступок – несбыточная мечта рыбаря...

– Ива, ты награжден бесплатной путевкой к Теплому морю! – не в силах совладать со своей радостью, объявила Аля.

– Какое море, если я только пришел оттуда?! – буркнул рыбарь, но прежде, со вкусом, опрокинул заслуженную рюмку. И с задором крякнув, продолжил разглагольствовать: – В родные палестины поедем, голуба!

– В деревню, что ли, твою, деревянную?! – негодуяще переспросила Аля.

– Да, поедем в деревню нашу деревянную, голуба, – подтвердил муж. – И, пожалуйста, не забудь напомнить мне, чтобы в дорожных хлопотах я не забыл купить напильников: точить пилы военным вдовам.

– Ивушка-Зеленая, да не говори глупостей! – Аля наморщила лоб и вызывающе подбоченилась – все маленькие жены любят подбочениваться, когда решаются постоять за себя. И не желая выслушивать никаких возражений, зачистила: – Сам знаешь, путевки к Теплому морю, к тому ж бесплатные, дают не каждый раз по приходу из рейса.

– И не каждому, и даже не через одного, – подзадорил муж.

– Про то и я говорю, – подхватила жена, – значит, заслужил моряк, а мне, твоей законной супружнице, сам Бог велит примазаться к трудовой славе своего благоверного.

Аля сбросила халат и, оставаясь в розовом бикини – обнове мужа – стала вертеться перед большим настенным зеркалом, вихлясто покачивая крутыми бедрами. Она, видно, представляла себе, как уже входит в ласковую синь Теплого моря, продолжая убеждать Иону:

– А ехать в твою деревню деревянную, кормить комарье гнусавое, нам и вовсе не обязательно... К тому же не к матери с отцом поедем. А дядя с теткой и обождать могут до другого лета.

– Чтоб этих слов я больше не слышал от тебя, – строго заметил Иона Гаврилыч. – Ты же сама хорошо знаешь, кем они доводятся нам. Роднее дяди и тетки у нас с тобой нету никого на свете.

– Господи, говоришь про какую-то дыру у черта на куличках, когда у нас в руках путевка к морю! – стояла на своем Аля. – Можно подумать, что твоя родимая в свое время мало подубасила тебя мордой об стол!

– Оттого и помнится, что она дубасила меня мордой об стол, сколько хотела, – вспыхнул рыбарь на жену. – И далось тебе это Теплое море! Хватит с нас и того, что я повязан им. – И он вовсе расстроился. – Ну, всегда-то так! Что бы рыбарь в море ни задумал, на берегу ему все переиначат, если не контора, так жена, не жена, так контора... А может, эта путевка – «горящая»? Кто-то из начальства вовремя не собрался на курорт или вовсе расхотел, а ты – выручай!

Вот так, как по-писаному, все просто выходило у начальства и жены: собирайся, рыбарь, на курорт к морю и – никаких гвоздей! А может, это море ему уже петухом в горле кричит? Да и как, какими словами, расскажешь про невидимую боль души – тоску по родным местам, которой он заболел в далекой дали от родных берегов?

– На курорт, говоришь... Таким дырявым, да? – как утопающий, хватаясь за соломину, рыбарь пошел ва-банк на свой последний шанс: он широко раскрыл рот и показал в нижнем ряду зубов зияющую пустоту.

– Ой, что это у тебя?! – встревожилась Аля, садясь на край кровати. – Неужто с кем-то поцапался в рейсе?

– Да, была небольшая драчка, – в голосе мужа прозвучала обида на запоздалую чуткость жены.

А с зубами у рыбака вышла такая вот штука.

Однажды, во время вечернего заката, налетел шторм и за какие-то минуты перекрутил «высыпанный» невод, которым можно было бы обложить вкруговую футбольное поле, в тугой жвак. Так разгневанный океан – сам себе Охрана Природы – решил отобрать у спесивых рыбаков расставленную на него большую капроновую ловушку.

Но и всесветным гордецам, просоленным морской водицей, было не с руки одаривать океан – за здорово живешь! – дорогим подарком. Ведь только одного свинца на грузила было навешено на нижнюю подбору несколько тонн! А сколько нанизано разъемных бронзовых колец-карабинов на стяжной трос? И это не считая дорогой капроновой сети-дели со «стенкой» в сто семьдесят метров. Когда невод лежит на корме на изготовку к замету, это целая гора ценнейшего добра. И как тут можно было поступить?

Вот и встали стенка на стенку две разъяренные силы. На кренившейся палубе, как на подкидных досках, цепко упираясь ногами, стояли враскорячь кряжистые рыбаки в оранжевых непромокаемых зюйдвестках, а на них, знай, с нахрапом наседали дыбившийся гривастый океан. Да так, что с его лохматой ревущей морды летела ключьями белая пена через мачты сейнера.

От перегрузки задымился электромотор на палубной лебедке. Минутами казалось, что люди вот-вот спасуют. Обрубят топорами стальные тросы и с миром разойдутся. Но и рыбаки уже вошли в раж, теперь уж – кто кого одолеет! Еще крепче вросли резиновыми сапожищами в уходящую из-под ног палубу, залитую водой. А чтобы легче дышалось, надсаживаются в матерном оре. Как только их терпел Великий Царь морей Нептун? Блажат на чем свет стоит,

а сами себе на уме. Уже не тянут судру невод, как репку на огороде: бабка за дедку... А как бы вычерпывают его из океана, ловко подлаживаясь под размашистую волну. И спасли-таки рыбаки невод!

В той открытой драчке с разбушевавшимся океаном малость не повезло только судовому коку. Он тоже со всеми вместе, на равных, упирался и матерился на палубе. И надо ж было случиться такому – лопнул стяжной, капроновый канат в руку толщиной, и – на тебе! Не кому-то из тех, кто денно и ночью топчется на палубе, якшаясь на «ты» с океаном, а ему, судовому кормильцу, пришлось в горячах выплюнуть за борт три здоровенных зуба. Рыжебородый и красногубый боцман-эстонец, по-моряцкому прозванию Али-Баба, успокоил команду:

– Братцы, считайте, что нам крупно повезло. Запросто сейчас могли б перейти на сухой паек... – И тут же сделал строгое внушение пострадавшему о нарушении техники безопасности: – А ты, шеф, надеюсь, теперь будешь знать, как переть на рожон самому океану... Такие вот пироги!

Как там будет в другой раз, кок Иона не стал загадывать наперед. Но и в содеянном он тоже не раскаивался, что по своей охоте выскочил из камбуза на выручку товарищам. Другой подмоги ждать им было неоткуда, так как вся команда сошлась в рукопашную со стихией. И лишь только капитан, страшный суевер-северянин, стоял у штурвала на мостике, виртуозно выводя судно из-под волны, не давая ему стать к ветру лагом; да парходный Философ, он же и Святой Чревоугодник, «дед», кубышка, под синей чертой ватерлиний пыхтел у реверса в духоте и грохоте дизелей...

Возвращаясь обратно в утро, рыбак уже отходчиво подумал: «Как ни крути, а жена-то по-своему права, когда во время ночного пробуждения, сказала мне, что по приходу из дальнего рейса – не каждый раз и далеко не каждому рыбаку дают бесплатные путевки к Теплому морю». А увидев Алю в хлопотах сборов на курорт, он и вовсе расслабился: «Да, она вправе примазаться к мужниной трудовой славе. Пока я в море, ей тоже не легко проходит быть хранительницей семейного очага...»

А через какое-то время Иона Веснин уже шел по-моряцки враскачку, каблуками врозь, по улице, чтобы по протекции новой подруги нанести визит к дантисту. Шел и тешил себя бормотанием:

– Что ж, на курорт, так на курорт...

Утро первого дня на берегу рыбаку дальнего заплыва показалось прямо-таки расчудесным! Над городом, умытым в ночи теплым дождем, щедро светило солнце, которое своим округлым румяным ликом походило на гулькающую мордашу хорошо выспавшегося карапуза. Через неделю, когда моряка не будет больше шатать от тверди земной, он устыдится своих обостренных в море чувствований, назовет их про себя «телячьими нежностями». И чудесный мир первооткрывателя померкнет в нем.

Но это с ним произойдет лишь через неделю – не раньше. Сегодня же он был чародеем: все примечал, все чувствовал, все слышал. Например, как растет трава на газонах... А топырившийся от деньжищ карман побуждал его каждого встречного – хоть немного знакомого – обнять и завернуть в ближайшее питейное заведение, чтобы угостить от души!

И до того ему было легко и отрадно, что он еле удерживал себя в узде, чтобы не взбрыкнуть дурашливым жеребенком и не сбачать чечетку тут же на тротуаре.

И вот, чтобы не разворотило изнутри, обалдевший от окружающей новизны, как бы уже напрочь забытой, рыбак, как говаривали старые машинисты, «спустил пар». То есть, глубоко и прочувственно вздохнул, как дышится человеку у себя дома, после долгой разлуки с ним. А затем еще и чистосердечно признался перед Всевышним:

– Господи, хорошо-то как, а!

Дантист оказался хотя и велеречивым говоруном, но на редкость расторопным малым. Пополудни этого же дня рыбак уже повторно сидел у него в кресле, примеряя готовый «мост».

Невероятно, если мы припомним все наши мытарства, когда дело доходит до ремонта зубов, но это было так.

– Теперь посадить на цемент готовый протез – минутное дело. – Дантист глянул на ручные часы и остался довольным собою, что укладывается в обещанные сроки. – А пока наш «мост», как говорят шоферы, садясь в новую машину, пусть пройдет хотя бы небольшую обкатку.

– Доктор, фирма работает, как часы! – подыграл пациент.

– Если хочешь жить – умей вертеться! – хохотнул дантист и сделал озабоченное лицо. – Да, милейший, не смогли бы в другой раз привезти из-за кордона для моей «Волжанки» безделушку на рычаг переключения скоростей. – И он проворно поворожил растопыренной ладонью – «бука-бука!» – перед глазами пациента, продолжая ворковать. – Этаким дивненький набалдашник с пикантным видиком голой дивы, замурованной в его прозрачное чрево.

«Ишь, какую «фигу с маком» захотел!» – посмеялся про себя рыбарь, припомнив на этот счет слова жены.

И неопределенно обнадежил:

– Посмотрим, доктор.

– Тогда, о'кей! Итак, жду на наше последнее randevu в восемнадцать ноль-ноль. – Дантист склонил на бочок свою разумную кудрявую голову и, как официант, вышколенный хорошими чаевыми, в почтении пропустил перед собой пациента на «обкатку моста».

Только рыбарь выкатился на улицу, и на тебе – встреча!

Да еще какая: перед ним стоял закадычный кореш по атлантическим рейсам Миня Категорический! К тому же он был еще и его земляк – в детстве купались в одной реке: Иона Гаврилыч – в понизовье, Миня – в верховье. Последний, правда, был намного моложе, но в настоящей дружбе все ровесники.

– Санта Мария, кого я вижу?.. Категорический привет, Цезарь! – на всю улицу гаркнул лысоватый крепыш в расстегнутой до пупа рубахе-безрукавке.

Широко разведя жилистые руки, разрисованные татуировкою – сплошняком голыми дивами с рыбьими хвостами, которых обвивали мускулистые змеи-искусители, присосавшись своими погаными пастями к их большим грудям, он встал посреди тротуара, как пень на дороге, который ни обойти, ни объехать.

– Дак, с приходом, Гаврилыч... держи краба! – протягивая растопыренную пятерню, пророкотал он благодушно, как хорошо отлаженный дизель на средних оборотах.

Кореш-земляки по-братски облапились и принялись с удовольствием колошматить друг друга по широким и звонким, как смолистые сосновые байдачины, спинам. Потом крепыш, отступив на шаг, подверг старшего друга-«земелю» дотошному допросу, на какой имел право только морской волк:

– Дак, как фортуна, Цезарь?

– Нормально, Миня! На этот раз малость подфартило: два плана взяли.

– А мы, Санта Мария, в последний мой рейс, ух как, категорически, пролетели мимо кассы! – с откровением попечаловался Миня. – Попали в какую-то полосу невезения, хотя до последнего дня упирались, как папы Карлы, талдыча себе: «Наша рыба от нас не уйдет!» Но сам знаешь, как бывает в море, когда хочешь поймать «золотую» рыбку. Думаешь, вот она, вот она! А она уже – на нос тебе намотана... Вильнет хвостом и... категорическое чао, мол, мудилы недоделанные! Короче, отвернулась от нас наша фортуна.

– И такое бывает, Миня, – посочувствовал удачливый рыбарь.

– Дак, какие у тебя теперь планы, земля?

– Ближайшие – «обкатываю зубной мост», дальнейшие – завтра улетаю с женой отдыхать к Теплому морю. – И Иона Гаврилыч, пребывая уже в приподнятом настроении отпускника, тихо пропел:

*«Теплоходом, самолетом...
Потому что круглая земля,
Тра-ля-ля, тра-ля-ля!»*

И продолжая благодушествовать, он доложил корешу все, как есть:

– Такие вот дела, Миня, позавчера гулял на райской земле Канарских островов, по благоустроенным улицам Санта-Круз-де-Тенерифе, а сегодня уже обозреваю наш благословенный город вековых лип у моря – Пярну.

– А у меня, Цезарь, другая песня: «Без воды – ни туды и ни сюды», – снова покручинился Миня. – С морем мне, категорически, завязали, поэтому у меня никаких дальних планов. Только ближние: где б плеснуть на горящую душу, Санта Мария!

– Миня, хватит базарить! – спохватился удачливый рыбарь, что они много потратили времени в никчемном трепе. – Пошли, Минька, сейчас обмоем мой «мост» в стадии новостроя!

И давно не видевшие друг друга морячка, беззаботно похохатывая и помахивая могучими рученьками, тут же потопали... Куда, собственно, видно, пока и сами не ведали. Но по их одержимости и ухватке можно было не сомневаться, что они притопают туда, куда так просились их распахнутые настезь душеньки.

Первым опаматовался Миня, когда они, укорачивая путь переулками и парковыми дорожками, притопали под самые ступени приморского ресторана «Раннахооне»:

– Цезарь, Санта Мария, в такой «рай» я уже давно, категорически, не ходок.

– Цыц, Минька! – приструнил Веснин приятеля, крепко подхватывая его под руку.

И они потопали вверх уже по шлифованным ступеням островного сааремааского доломита. Да с такой охотой, будто там, за стеклянными дверями, и в самом деле был рай, куда сегодня свободно впускали всех грешников. Но не тут-то было! Вход в «рай» перегораживала длинная, во всю ширину створы, вывеска: «СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ».

– Вот те на-а! – огорчился Миня. – Теперь уже и днем стало, категорически, не пробиться сюда.

В глубине створ маячила дюжая фигура молодого вратного при золотых галунах. Здоровенная его ряха, как и полагалось всякому стражу, лоснилась от избытка здоровья, сытости и лени. Миня махнул растопыренной «клешней» по бывшей своей огнистой шевелюре, от которой остался лишь желтый цыплячий пушок, приосанился и, скрючив указательный палец, нетерпеливо постучал по стеклу. Вратный поднял на них свой откровенно-хамоватый взор и с напускным равнодушием долго не мог взять себе в толк: чего это хотят от него невесть откуда притопавшие грешники?

– Санта Мария, категорически говорю, сейчас этот откормленный боров потребует от нас «на лапу», – язвительно шепнул Миня.

Веснин намек приятеля понял, поспешно выудил из кармана ассигнацию среднего достоинства и сломил ее в виде пропуска, что не ускользнуло от наметанного глаза вратного, который тут же расплылся – от уха до уха – в приветной ухмылке.

– Цезарь, фокус удался! – радостно шепнул Миня. А когда отворилась створа и вратный, пропуская гостей, как бы для дружеского личного приветствия протянул ему руку, он своей левой «клешней» перехватил ее, крепко сжав в запястье, а правая сложилась в кукиш вместо ожидаемой мзды.

В ресторанном баре, наглухо задрапированном от солнца и моря тяжелыми бордовыми шторами, было ни жарко, ни холодно. Ну в самый-то раз! Сотрапезники тут же привычно уселись на высокие крутящиеся табуреты, отпятив свои тугие зады ко всему человечеству, обретавшему за стенами «рая» в суетной брэнности житейских забот и хронического безденежья. На душе у них было так благостно, так отраднo, будто они были и вовсе никакие не кореши,

задубевшие на вселенских ветрах, а синьоры-помидоры, попавшие в теплый валенок на дозревание.

– Миня, только давай сразу уговоримся: побудем накоротке, – упредил Иона Гаврилыч скорее себя. – Сам понимаешь – сборы на курорт. Да еще и дантист назначил randevu.

– Лады, Цезарь, – охотно согласился на все согласный Миня, будто с мороза потирая ладони. – Итак, сэр, к разврату, категорически, готов! – И он, от нетерпения, как в былые свои лучшие времена, по-удалому призывно прищелкнул пальцами.

Прыщавый бармен с гладко расчесанными, на косой пробор, белесыми сальными волосами, даже и ухом не повел. Мало того, он, что-то жуя, еще и надолго скрылся за боковой шторой, что обескуражило Миню.

– Санта Мария, за свои-то кровные надо еще и шапку ломать! – и посетовал: – Да, Цезарь, это тебе не заграница, где все, категорически, для посетителя.

– Дружище, позволь не согласиться, – возразил Иона Гаврилыч. – К сожалению, у нас, даже при такой нерасторопности, все-таки успевают быстрее укушаться до поросычьего визгу.

– Дак, оттого и укушиваемся, потому что ко всему надо дорваться, будто к корыту, – вполголоса заблажил Миня. – На все нужное и ненужное создали дефицит (последнее слово он произнес с сарказмом, подражая Аркадию Райкину). – Свободных мест – куры не клюют, а они дерут оброк с православных.

Но вот он успокоился, уготавливая себя к более благоприятному времяпрепровождению, по-доброму посмотрел на удачливого земляка:

– А ты, гляжу, и не меняешься – все такой же. Как вошел в законный сороковник, так и задубел в одной ипостаси: худ с лица, нос еще не сворочен на сторону в потасовках – прямой, и пострижен, как всегда, по-тренерски – коротко... Да, запомывал, а кто тебя – Цезарем-то нарек?

– Кто, кроме нашего пароходного Философа, «деда» Кубышки, мог додуматься до такой хохмы? Это он раскопал в журналах цветную репродукцию с барельефом римского императора и намертво приклеил ее в салоне на переборку над камбузной раздаточной амбразурой. Но прежде переправил его имена «Гай Юлий» на мои инициалы, укоротив отчество. Так и получилось у него: «Наш шеф, Иона Гавр Цезарь!» И пошло-поехало.

– Да, Юрий Владимирович – «дед» категорический! – согласился Миня.

– «Дед» дальневосточной закваски! – не удержался от похвалы и Иона Гаврилыч. – О чем бы не зашла речь – о пароходах, рыбе, бабах, – он всегда вернет: «А вот у нас бывало на Дальнем Востоке...»

Наконец-то по темной заводи широкой полированной стойки приплыли-таки вожделенные широкие фужеры с коньяком.

– Ух, какие, категорические лоханки! – восхитился Миня, от нетерпения передернув плечами. – Чтоб и нос мог побалдеть...

– Так за все бывшее, дружище! – сказал Иона Гаврилыч.

– За все хорошее! – уточнил Миня со спазмой в горле. – А вот все плохое мореманам, категорически, нельзя держать в себе. Иначе в их широких душах не останется места для хорошего... Дак, за твой приход, «Великий камбузный Пэка-Пэкарь Иона Гавр Цезарь»! Я ведь помню твой первый хлебушек «на-оселок», из которого мы, хохмачи, слепили преогромный мужской грех... И твой первый, всем пирогам – пирог «Копенгаген»! Молоток, земля!

Приятель отрадно чокнулись и от певучести тонкого чистого стекла чутко встрепенулись их воспаренные нечаянной встречей, открытые души, в которых будто бы ответно ударили соборные колокола (под их-то малиновые звоны и разговелись в один мах). Миня, как бы все еще прислушиваясь к ним, замер на какое-то время, пока вновь не воодушевился:

– Ведь моряку, Цезарь, и помнится-то море оттого, что он не держит на него зла. Ведь сам знаешь, каково бывает в рейсе, когда, бывает, и небо с овчинку покажется. Но как только

рыбарь ступил ногой на берег, все плохое, как и его стоптанные всмятку палубные башмаки, остается на судне... А на берегу для него столько открыто волчьих ям – ой-ой! И вот, по приходу с моря, ухнет он сдуру в одну из них и сразу кричи: чао, Санта Мария! Моя б власть, в первую неделю сошествия на землю – моряков, полярников, космонавтов, я, категорически, запретил бы замечать в каталажку за их малые человеческие шалости, так как в эти дни в них ворочается окаянная *адаптация*, когда стихия моря и блажь земли сшибаются лбами...

Тертые-перетертые, соленые-пересоленные – жизнью и морем, «земели» понимают друг друга, настолько, что, будь сейчас в наивысшей кондиции застолья, наверняка, облобызались бы смачно.

А меж тем к изливавшимся в откровениях приятелям, как бы сам по себе, подплыл уже и повторный заказ. Миня пододвинул ближе к себе фужер и уставился в него отрешенным взглядом, каким глядят в темный колдовской бочаг решившие свести свои счета с жизнью. Глядят, глядят этак и – бултых головой под старый еловый выворотень, позабыв сказать слова прощания: «Чао, Санта Мария».

– Ты чего, дружище? – осторожно спросил Иона Гаврилыч, не узнавая в земляке прежнего весельчака.

О Минином не унывающим некогда нраве можно было судить хотя бы по его женитьбе. Однажды по приходу с фартовой весенней путины он шел с дружками по утопающему в сиреневом половодье городу, а встречу им, весело пританцовывая, цокали на высоких каблуках три длинноногие молодки – одна другой краше. И Миня, у которого настроение всегда было пропорционально наличию в кармане «капусты», решил разыграть их. К тому же с шевелюрой у него тогда было все в порядке. И он, бравируя образом неотразимого мужчины с тугой мошной в кармане, шагнул наперерез – кому бы это было знать! – своей планиде:

– Крошки, кто из вас готова, категорически, стать моей женой?

Одна из молодок – самая пышноволосяя и полногрудая, видно, решила сбить с него спесь:

– Раз решился, «категорически», продать душу мне, славненькой ведьмочке по имени Жанна, тогда гони задаток, милоч!

– За ценой не постоим! – хором ответили за «жениха» его други-шаферы.

Вскоре по весеннему городу шла уже колготная толпа из неотразимых молодок и расторопных моряков, жаждущих острых ощущений, заворачивая в ювелирный магазин, где сообща выбрали свежеиспеченной невесте скромный свадебный задаток. Амулет: часики-сердечко на золотой цепочке. Так в приморском городе – нежданно, негаданно – забурлила, скорая на сборы, спонтанная рыбацкая свадьба, которая «категорически» обрубила рыбарю дальнего заплыва Мине Категорическому концы, связывающие его с вольготностью убежденного холостяка...

Продолжая вглядываться отрешенным взглядом в фужер, Миня наконец-то нарушил затянувшуюся паузу:

– В семье у меня, Цезарь, нелады. С Жанкой, категорически, стукнулись – горшок об горшок. Пока я пахал в море, она тут...

– Дружище, хватит! Это старая песня... Так тебе и надо! – огорошил кореша Иона Гаврилыч. – Сколько раз тебе и всем нам втолковывал наш пароходный Философ «дед» Рукавишин: «Только завзятые глупцы хвастаются своими женам, а умные-то мужики говорят о сынах своих, – какими они станут». А у тебя, как женился, с языка не сходило: «Моя Жанка – вкуснятина, каких нет на свете!» Вот и добахвалился – так тебе и надо!

Миня невесело усмехнулся: – Бей, Цезарь, тебе разрешаю!

Он немного помолчал, как бы собираясь с мыслями, и снова продолжая исповедоваться перед старшим другом:

– А все началось с того черного рейса, когда мы лихо и категорически пролетели мимо кассы... По приходу из рейса моя прекрасная королева, как обухом по голове бац: «Зная, что

не взяли план, неужели не мог остаться на второй рейс? Я же писала тебе в письме, что заказала финскую стенку и мягкий гарнитур. Теперь, выходит, осталась на бобах». И разрыдалась, как самая распоследняя Санта Мария, выговаривая: «Чем пустым-то было приходиться, лучше б и вовсе не приходил!»

– Сразу-то я как-то не врубился, – продолжал он удрученно. – Но вскоре понял, что заявлено мне было, категорически, чтоб развести мосты. А кончилось это – полным для меня крушением. Суд занял сторону матери, поэтому я лишился сына и дочери, ради которых не стал заводить тяжбу с разменом новой квартиры. И вообще ничего не взял из дома.

– По такому случаю моя тетка-крестная Параскева-Пятница сказала б: «Блажным да святым – богатство ни к чему». – Иона Гаврилыч обнял кореша за плечи, отчего того еще больше подвигло на откровения:

– И родное начальство «Рыбкиной конторы», а также партком и профком, не остались в стороне. Тоже – от души – дали под самый дых! Как разведенцу сразу же и визу зарубили... Так рыбарь дальнего заплыва всем пузом, категорически, налетел на мель.

– На это у нас, дружище, все горазды. Стоит только человеку споткнуться, потом, будь уверен, запинаят ногами. И как ни странно, за такое бдение и усердие – благодарности и разные подвижки по службе, – не без горечи посочувствовал удачливый Иона, лишь бы только не молчать.

Хотя помолчать сегодня его устраивало. С новым хлябающим «мостом» во рту, поставленным дантистом на «обкатку», он чувствовал себя, как бы взнузданным удилами. Ему сейчас хотелось бы побыть с земляком-корешом не накоротке – за стойкой бара, а за домашним столом, и не спеша, все путем, потолковать о его бедах:

– Вот сейчас говорю с тобой, а сам в мыслях-то весь в сборах к Теплому морю... Да еще и дантист некстати назначил рандеву. Вживил бы свою железяку сразу и – баста! И все было б о'кей!.. Все суетимся, дергаемся, торопимся куда-то, что и поговорить с другом по душам стало некогда.

И, вконец осердившись на себя, Иона Гаврилыч резко подвел черту под Миниными горестями:

– Вообще-то, дружище, как я тебя понял: защекотала ласка лошадь, тут уж ничего не поделаешь! – А увидев, что приятель не понял его, он, отчаянно жестикулируя руками, стал втолковывать ему, что бы это значило. – Понимаешь, живет на свете этакая зверюшка с белым зимой ласковым мехом. И Боже упаси, если такая симпатяга с острыми зубками и коготками заведется на конюшне. Хитрая чертовка спрячется в паху у лошади и давай пить кровь из жил. Бедный коняга – ржет, бьется. Все думают: о, как резвится! А он – раз! – и копыта откинул от разрыва сердца.

Миня же, погруженный в свои заботы, не слыша его иносказательности к себе, искренне вновь попечаловался:

– Цезарь, а как бы ты поступил на моем месте, когда дело еще не дошло до категорического развода семейных мостов?

– В таких случаях, дружище, на конюшне, еще загодя, заводят козла, – едко отшутился Иона Гаврилыч. – И чем он будет смердячее, тем лучше, ибо ласка не терпит козлячьего духа.

И он запросил пощады:

– Миня, может хватит об этом? Все люди несчастны – каждый по-своему. Скоро сюда придут девочки и все такое... Посиди, развейся тут. Вот это сделать для тебя сегодня мне проще простого.

Миня наплевательски махнул рукой и, не чокаясь, отхлебнул большой глоток из «лоханки», продолжая кручиниться совсем поникшим голосом:

– Мои нелады с Жанкой начались не столько из-за моего треклятого рейса, но еще и – из-за ее новых подруг, которые, будто зубато-полосатые баракуды – морские щуки, постоянно хищничают вокруг моряцкой кассы, чтобы поскорее сорвать куш по аттестату мужа-рыбара.

– Дружище, с них-то, зубасто-полосатых, и начинаются все наши семейные разлады, – в шутку и всерьез подлил в огонь масла Иона. Ему тоже сегодня не понравилось, что Аля в его отсутствие завела себе новую, и, видать, пройдошистую подругу, которая свела ее с дантистом. – Однажды спроси, как бы ненароком, свою жену, кто ее новая подруга, и ты будешь знать, каковой стала твоя жена... Женщины, как ни странно, когда остаются без своих пастухов-мужей, черт бы их подрал, любят стадность.

Прискучившись прозой жизни, он вытащил из заднего кармана брюк тугой бумажник и положил на стойку:

– Миня, вздрогни! Вот возьми «капусты», столько, сколько считаешь нужным, чтобы безбедно кутнуть тут вечерок с девочками. – И не удержался от самодовольства. – Сегодня, дружище, главное в нашей жизни – это то, когда тебя понимают.

– Старо, Цезарь! – осердился Миня. – Сегодня в нашей жизни главное то – тебе делают разные бяки-каки, а ты, категорически, не сорвись... А «лопатник» свой убери – вместе пришли, вместе и уйдем.

– Лады, Миня, вот за это и пропустим – на посошок!

Так загадочные корешки, да еще и «земели» по Бегучей Реке Детства, накоротке – со свиданьем – потолковали, как говорят одесситы «за жисть».

И вот они – от души! – убаженные, уже сходят по доломитовым шлифованным ступеням с «небес» на грешную землю. Дюжий вратный при золотых галунах следом за ними тут же захлопнул стеклянные створы.

На парковой дорожке из толченого кирпича, окрашенной предвечерним солнцем в пурпурный цвет, Миня, как водится у истых мореманов, чтобы не вязаться на «хвосте», первым по-джентльменски спросил:

– Тебе, Цезарь, куда? – Этим он дал право приятелю поступить, как ему будет угодно.

Веснин, молча, тронул себя за скулу и обреченно рубанул ладонью в сторону города: к дантисту, мол, дружище.

– Тогда держи «краба»! – Миня крепко потрянул руку и заботливо предостерег. – Пейгуляй, рыбарь, и помни, что в первые дни на берегу в тебе ворочается окаянная *адаптация!*

И в дружеское напутствие он неподражаемо гаркнул во всю голосину:

– Категорическое чао, Иона Гавр Цезарь! Да хранит тебя Санта Мария!

На «Тропе Дикарей», по которой любили гулять в вечерние часы – в направлении приморского бульвара – дачники-«дикари», обитавшие в частных коттеджах побережья, рыбарь, проходя мимо цветочного базарчика, уютно расположившегося на широких парковых скамьях, купил роскошный букет из нежно-кремовых роз. Для чего он это сделал и сам не знал. То ли захотелось с шиком потратиться перед улыбчивыми бабулями, то ли просто не мог пройти мимо земной красы, и все тут! Видно, в нем сказался бывший садовод, по деревенскому прозвищу, Мичурин. Но, что бы им не подвигло, он тут же устыдился себя с букетом в руках:

– Жених да и только... Ох, и зараза, эта окаянная... *адаптация!*

А она только еще набирала в нем свои обороты. Четко и ясно высвечивая в его обостренной в море памяти, казалось бы, уже давно забытые знакомые лица, адреса, телефоны и разные истории, оставившие в нем свои меты.

...Под самый Новый год... рыбарь возвращался из отпуска, который гостевал у себя на малой родине, на кряжистом берегу своей Бегучей Реки Детства.

В переполненном общем вагоне дополнительного поезда «Ленинград – Таллин» он благодарил судьбу, за то, что ему, как сказал бы его боцман Али-Баба, «крупно повезло». Чтобы хоть немного было посвободнее сидеть снизу пассажирам, он сразу же устроился вместе с чемо-

даном на верхней полке. А отдав свою меховую куртку вместо постели пятилетней девчужке, улегшей на его плацкарте, сразу же завоевал благосклонность молодой мамы.

Она сидела, у окна, разрисованного морозом серебряными серпами. Высокая прическа густых волос цвета надраенной меди, дымчато-розовый джемпер, подчеркнуто облегавший женственную грудь, и лучисто-неожиданный всплеск живых глаз делали ее в неоновом свете, сеявшимся с потолка уже новогодним таинством, какой-то неземной.

«С такой можно было б – на край земли!» – весело подумал рыбарь, находясь уже в предпраздничном настроении. Незнакомка, словно бы подслушала его плотские возжелания, подняла высокое чело и, как ему померещилось в обманчивом свете неона, осуждающе качнула головой на длинной шее. И он еще отметил про себя: «Ух, какая телепатка!»

Время от времени, докладывая взглядом молодой маме о ее дочурке – спит, мол, – он каждый раз на эту заботу вознаграждался то лучистым взглядом, то полуулыбкой с загадочным прикусом нижней губы. И это делало их единомышленниками в душном плацкартном вагоне дополнительного (в предновогодье) поезда, где уже стоял храп смявшихся ожиданием пассажиров, смятых сном в неловкие сидячие позы.

Потом легкомысленный пассажир, кажется, вздремнул... чтобы тут же испуганно проснуться от истеричного вопля молодой незнакомки. Глянул вниз и глазам своим не поверил. Из угла его чемодана стекала тягучая, золотисто-янтарная «змея», вползая вниз, словно в лесную кочку «кукушкиного льна», в величаво-праздничную прическу пассажирки, которой он только что любовался сверху, как спустившимся на землю небесным ангелом.

«Мед!» – бухнуло в его голове перекатным громом.

Кто бы знал, как в сей миг рыбарь возненавидел все сладкое на свете... И надо ж было случиться такому. В Ленинграде, на Варшавском вокзале, когда он бежал от «камеры хранения» на посадку вот-вот отходящего поезда, впопыхах задел за что-то чемоданом, сбив «с мясом» блестящий уголок... А тут еще, себе на беду, в переполненном вагоне увидел «неземную» незнакомку и враз запомнил про манерку с медом, которую родичи навязали в гостинец жене. Будь все по-иному, разве поднял бы наверх чемодан с такой опасной поклажей, положив его в изголовье себе плашмя к отопительной трубе вместо подушки?

На крики пострадавшей тут же прибежала дородная проводница с грозным лицом разгневанной боярыни Морозовой:

– Чей чемодан?! – строго спросила она.

Опростоволосившийся пассажир притворился, будто бы спит сном праведника. Проводница же, напротив, не поленилась встать на нижние сидения прохода и настоятельно постучала своим ключом-трехгранником – сперва по верхней полке, а затем и по пяткам сокрушителя покоя. Запираться было бесполезно.

Пружинисто спустившись на руках вниз, рыбарь, молча (а что тут скажешь?), снял с верхней полки чемодан и, зажимая ладонью рваный угол, понес его перед собой, опасливо, как самодельную бомбу, под потешание враз размаявшихся пассажиров.

– Хозяйка, – обращался к проводнице лысоватый старикашка в подтяжках, – заводи свой самовар; чай будем пить с медом!

В тамбуре рыбарь попросил рассерженную проводницу открыть входную дверь, чтобы выбросить на ходу свой чемодан, набитый под коленку всякой дорожной всячиной. И та, добрая лицом, назидательно рассмеялась:

– Не валяй дурика-то... мед – не сало, помыл и отстало.

Следом за ним в тамбур пришла и пострадавшая пассажирка. Не смея отнять руки, прилипшие к роскошным волосам, она тихо плакала. Проводница и ее утешила:

– Не подумала ль, красавица, что теперь придется остричься наголо? Так знай: мед – укрепляет корни волос. – И она, качая головой, отходчиво посмеялась. – Такие чудеса только и приключаются в Новогоднюю ночь.

Пока пострадавшая обихаживала в туалете горячей водой волосы, расчесав их по всей спине золотистой парчой, суровая хозяйка служебного купе наводила порядок в чемодане незадачливого пассажира. А управившись с хлопотами, она по-домашнему объявила:

– Сейчас чай с медом будем пить! – оказывается, в манерке осталось от деревенского гостинца и для них.

Так они – рыбарь Иона Веснин и «неземная» пассажирка по имени Реэт – и познакомились в ту Новогоднюю ночь под стук колес, мчащегося поезда Ленинград – Таллин. Оказывается, ехали в один и тот же приморский город Пярну. Реэт с дочкой возвращалась из гостей, навестив в Питере своих постоянных летних дачников. А рыбарь греб к своему причалу, чтобы снова выйти в море.

Новогодний Таллин встретил их невиданной метелью. Сквозь завывающую белую круговерть, в синеем предраассвете чуть проглядывал бровасто-бородатый седой Вышгород, величественно возвышаясь над привокзальной площадью. Прохватывающий до самых костей ветер с колючим снегом прямо-таки валил о ног. Рыбарь запахнул себе в меховую куртку дочурку Реэт, и они двинули по перрону в сторону стоянки междугородних автобусов.

– Как бы мы и обошлись без вас? – стараясь перекричать завывание вьюги, с благодарностью призналась Реэт своему попутчику...

Цветы-то, из блажи купленные у торговки на парковой скамье в первый день своей *адаптации* с твердью земной, и подвигли рыбаря дальнего заплыва на джентльменский порыв – подарить букет женщине, пред которой считал себя теперь вечным должником. К тому же для осуществления скорого замысла он не видел никаких препон. Во время приснопамятного новогоднего чаепития с медом в служебном купе общего вагона Реэт в мимолетном откровении вскользь обмолвилась, что она – соломенная вдова...

Миновав приморский парк, призагулявший рыбарь вскоре вышел на тихую затравенелую улочку, к низкому одноэтажному дому под большими деревьями. Парадная дверь, пред которой он однажды бывал, когда провожал Реэт с дочкой с автовокзала на такси, была распахнута настежь. И это ободрило его: «Значит, дома!» А шагнув в коридорчик, он тут же оробел от нелепости своего поступка – без приглашения заявиться в дом с розами в руках: «Здравствуйте, я ваша тетя-Мотя!» И на попятную идти было поздно, уже постучался.

Не получив ответа, он слегка толкнул дверь. Та свободно отворилась и незванный гость оторопело застыл на пороге: ему почудилось, что он попал в бездымное полымя. Так багрово просвечивали на предвечернем солнце темно-малиновые шторы, которыми наглухо было задернуто широкое окно. Присмотревшись с яркого уличного света, он к большой своей радости разглядел Реэт. Она сидела в глубине комнаты, утонув в старом кресле, укрывшись по самый нос клетчатым пледом, как и все здесь – малинового цвета.

«Выходит, это она сейчас выглянула из окна и, видно, узнав меня, притворилась, что спит... Даже не успела снять темные очки», – польстил себе незванный гость, решив продолжить игру, раз этого пожелала молодая женщина.

Журавлиным плясом он бесшумно обежал комнату, встав позади кресла. И только было жеманно поднес даме с малиновыми локонами цветы, положив их ей на грудь, как был цепко схвачен за руку узловатыми пальцами. Отбрасывая плед, темные очки и парик, из кресла встопырилась шустрая старушенция с иссеченными малиновыми волосенками, торжествующе восклицая:

– Ах-ха! Что, обознался, кавалер хороший? – не давая опаматоваться гостю, она насильно усадила его в кресло вместо себя. – Вот так, посиди здесь со мной – разговор есть с тобой, друг мой!

Багряно-малиновый сумрак комнаты, мягкое нагретое кресло и рядом дребезжащий голос старухи напомнили Ионе далекое ночное, когда он, мальчишкой, увешанный уздами, на ранней утренней заре, переходя заросшую резучей осокой топкую мочажину, зацепился босой

ногой за старые травяные корневища и, не устояв, шлепнулся задом в парную трясиину, едва не угодив на притаившегося дергача-коростыля, который с перепугу, шарахнувшись прочь, трескуче вскричал: «кры-кры-кры!» Так же сейчас слышался ему и голос старухи:

– Нету твоей дамы сердца, нету! – со злорадством возликовала она. – Еще чуть свет снова укатила к себе в детской лагерь, где от работы назначена хозяйкой... Там при ней и дочка отдыхает. И выходит, что ты, кавалер хороший, пришел ко мне на свиданье... А вчера, да, здесь тебя ждала другая краля – молодая и разодетая в пух! С полудня и до самой ночи высидела при открытой двери: дома, мол, я! Жду – не дождусь тебя, мой кавалер хороший! Ловко я разгадала ваши секреты, ловко!

Она бесцеремонно оглядела гостя и в упор спросила:

– Моряк?

Рыбарь, удивившись прозорливости хозяйки дома, утвердительно кивнул головой, что той придало отваги:

– Я сразу догадалась, что идет матрос, выворачиваешь на стороны каблуками. И букетом размахивает, как веником, собравшись в баню.

И назидательно упрекнула:

– Друг мой, да кто ж так несет цветы даме своего сердца? Ты б видел, как мне их нес мой Серж, будто зажженную свечу хотел поставить к иконе. Сразу было видно, что дворянин идет! – Спohватившись, она подсемила к двери, дважды клацнула личиной замка, а вынутый ключ зажала в кулаке, который сам сложился в кукиш: накось теперь выкуси, мол, друг мой!

«Что задумала старая ведьма?» – подумал рыбарь, осознавая, что попал, как кур в ощип!

Его обеспокоенность, словно бы подслушала хозяйка дома:

– Кофе сейчас пить будем, кавалер хороший! – не скрывая неприязни к гостю, объявила она. – Специально для тебя с утра держу кипяток наготове.

От слова «кипяток» у гостя сразу же выветрился из головы весь хмель: «Сейчас шваркнет горяченьким в лицо и можешь ехать отдыхать к Теплому морю», – хотел он посмеяться над собой, но быть заложником за неведомого ему любовника-двойника не больно-то весело. Поэтому, как только старуха удалилась на кухню, он вскочил с кресла и подойдя к окну, широко раздвинул шторы (таинственно-малиновый цвет исчез и все стало обыденным). Затем на всякий случай приоткрыл и створы рамы: береженого и Бог бережет...

Хозяйка – уже с сивыми волосенками – тут же вернулась и вправду с парившимся кофейником в руках. А когда она поставила его на журнальный столик, гость только сейчас, на свету, разглядел на нембанку растворимого кофе, пузатый графинчик с длинным горлом и две рюмки-наперстки. Он хотел было объясниться в недоразумении, но старуха не дала и рта открыть:

– Помолчите, трук мой! – возвысила она голос с совершенно неожиданным сильным акцентом. – Сперва выслушай, што я тепе скажу... А потом катись ко всем чертям собачьим... Штоп и туха твоего стесь не было! – От большого волнения у нее задергалась голова, походя на птичью.

Затем она вышла из комнаты и вернулась с вазой в руках, в которую поставила розы, лежащие на диване, продолжая бормотать себе под нос:

– Поватился хотить по ночам, а тепер уже и тнем заявился, шерт рокатый! – Поставив цветы посреди стола, она властно указала гостю на пуфик, а сама снова утонула в глубоком кресле, успокаиваясь в голосе, с усмешкой и уже без акцента:

– Так разливай, кавалер хороший, у меня-то трясутся руки. И не говори, что не умеешь. По ночам-то часто слышу, как вы тут чокаетесь рюмками да потом милуетесь на скрипучем диване.

«Ничего не скажешь, лихо гуляю на чьем-то похмелье...» – подумал гость, но встать из-за стола и уйти не смог, что-то удержало.

А хозяйка меж тем подняла рюмку-наперсток:

– Эльзой Хансовной меня величают! А как тебя зовут – и знать не желаю... Хотя б за то, что ходишь в мой дом по ночам, как вор.

Выпила она с большим достоинством и до дна. А ставя на стол серебряную – видно, любимую – рюмочку, прочла по памяти выгравированную мелкую витиеватую роспись вкруговую под срезом:

– «Ее же и монси – монахи – приемлют!» – И похвалилась. – Да, я иногда пригубливаюсь на здоровье, чтоб кровь поиграла в жилах. А вот табак не переносу – на дух!

Не спуская с гостя пристального взгляда выцветших, но довольно-таки еще вострых, помигивающих глаз, и с наслаждением отхлебывая обжигающего кофе из большой керамической кружки, она как-то по-свойски позлорадствовала:

– Зато твоя дама сердца смолит за троих матросов... За вчерашний вечер, ожидая тебя, аж почернела от табака, как кабатчица. Смолит сигарету за сигаретой, а сама, знай, кусает себе губы до крови. Все надеялась, что ты, кавалер хороший, с минуты на минуту явишься перед ней, как конь перед травой... Мой первый муж был русский. Белый кавалерийский офицер! Потому и знаю про лошадей много, если не все.

А угнездившись поудобнее в кресле, она и вовсе возгордилась:

– Да, друг мой, расейские дворяне и государи весьма обожали чухонку, не чураясь даже их простого сословия... Да что там далеко ходить. И у советского Старосты Михкеля Калиныча жена тоже была чухонка. Марта из Нарвы. Только вот поступил он с ней впоследствии – побасурмански. Не заступился за нее, что она, будто бы – иностранная шпионка. И в отставку не подал. И впредь продолжал государить, как ни в чем не бывало. Да и что с него было взять, если – не благородных кровей. Слесарь, он и есть слесарь.

Непочтительно махнув рукой, она продолжила о своем:

– Потом-то у меня перебыло немало мужчин. Трое из них – мужами назывались. И все, как на подбор, выискивались мне какими-то непородными: если не вислоухий, то плешивый... Может, через это и лица их стерлись в памяти, хотя и доводились они мне – одноплеменниками. А вот петербургского дворянина помню. О, это был истинный красавец! К тому же еще и большой чести мужчина! Чего нельзя сказать об узкобородом правителе Михкеле Калиныче... Но я по молодости, а мне, дочке лавочника, еще и двадцати не было тогда, не уберегла его. Дала повод усомниться в моей верности к нему, тридцатилетнему офицеру. Из ревности застрелился мой Серж... Вот, как надо любить, матрос, когда ради дамы сердца и жизни своей не жаль!

Эльза Хансовна еще плеснула себе в рюмочку зелья и тут же выпила, не призывая к этому гостя:

– Пусть земля будет ему, Сержу, пухом! – И немного помолчав, продолжила свою исповедь. – А Реэт – это наша с ним уже правнучка – мое единственное утешение. Бог одарил ее – и красотой, и добротой. Только вот черт подсовывает ей все не тех кавалеров. Вроде тебя, матрос... К тому же ты еще и русский! Хватит, что я в свое время помесила людской кровушки. А ее, сколько ни меси, как показывает жизнь, все то же дерьмо получается.

За все жизненные неудачи правнучки старая женщина свой гнев обрушила на незваного гостя, приняв его за очередного ее ухажера:

– Погубитель – вот ты кто! Рушишь сразу две семьи – чужую и свою. Надеюсь, она у тебя есть? Было б хуже для твоих лет, если бы ее не было у тебя... Больше того скажу, неужели тебя не страшит, что Реэт намного моложе тебя? Вот пройдут годы, она будет такой, каким ты сейчас есть – еще в силах женщина! А ты станешь таким, какая я теперь есть... Старым хрычем будешь зваться! Вот, что тебя ждет, кавалер хороший. Спрашивается, какой-такой привадой потом удержишь ее, этакую-то принцессу возле себя?

И она снова, как-то по-свойски, укоризно ткнула его скрюченным пальцем в лоб:

– Чего молчишь-то, матрос? Или сказать тебе нечего?

А матрос счел благоразумнее помолчать, пока не выговорится его собеседница. Это еще больше вывело ее из себя:

– Друг мой, послушай меня, человека немало повидавшего всего на свете. Пока не поздно для тебя, сгинь с ее глаз и сердца. Утешься тем, как сказал бы мой Серж-дворянин: «Был конь – было и поезжено!» Более того откроюсь: такие, как Реэт, не годятся в жены. Она из тех крадь, которые могут быть хорошими для мужчины только дважды – на любовном ложе да на смертном одре...

Гость, заподозрив собеседницу, что та умышленно оговаривает свою правнучку, заступился за нее и ее, незнакомого ему, возлюбленного:

– Может, они любят друг друга.

– Помолчите, кавалер хороший! – бесцеремонно оборвала гостя старуха, которую, видно, оскорбило то, что «воздыхатель» ее любимой кровинушки говорит о себе в третьем лице. – Любят друг друга только птицы – в каждодневных трудах и заботах о птенцах своих! А от такой-то, как у вас, любви воровской, не может ничего родиться путного. Кроме собственного позора и безотцовщины, которой и без того хватает вокруг...

Что еще выговаривала она ему, рыбарь уже не слышал. И как долго длилось бы его отупение, не сообрази, что свиданье закончено. Эльза Хансовна стояла над столом с плотно сжатыми губами. Спихватившись над своей оплошностью, он вскочил на ноги, отбил низкий поклон за угощение и хотел было уже выйти из-за стола, но был остановлен хозяйкой дома:

– Только рюмку-то свою прежде выпей, не оставляй людям зла. – А уловив в госте растерянность, она как-то легко посмеялась. – Не бойсь, не отраву и не отворотное зелье. Настойка коньяка на шиповнике. На здоровье, матрос!

Для рыбаря теперь было все равно, что пить – хоть отраву или отворотное зелье, лишь бы побыстрее закончить свое затянувшееся «свиданье». И он с отрешенностью обреченного поднял рюмку-наперсток, резко запрокинув голову, и этак залихватски плеснул себе в широко раскрытый рот животворное зелье, что не ускользнуло от осуждающего взгляда хозяйки:

– Эка, хлещешь-то как, друг мой! Поди, еще и картежник отпетый?

– Угу! – утвердительно кивнул головой гость, уже потешаясь над собой. Потом он размашисто шагнул к двери и стал ждать, когда хозяйка отомкнет замок.

– Открыто, друг мой! – окриком сообщила Эльза Хансовна со смешочком в голосе и безо всякого-то акцента. – Я только ключом повернула туды-сюды... Да и «веник» свой не забудь!

Незванный гость, не осознавая, что уже паясничает, козырнул любимым словцом кореша Мины:

– Мадам, вы мне, категорически, нравитесь!

– И на том спасибо, друг мой! Я тоже признаюсь тебе, как на духу. Во дворе у меня стоит приготовленное ведро с коровьим дерьмом. Придешь еще раз ночью в мой дом, как вор, окачу с головы до ног. А сейчас уходи, чтобы и глаза мои не видели тебя, хлюста. Сердцем чую, что тут, рано или поздно, добром не кончится. И свой «веник» не забудь взять, – разразилась гневливой тирадой хранительница семейного очага под высокими деревьями, чем пылко воодушевила гостя:

– А эти розы я – от души – принес вам. И только Вам... Категорическое чао, мадам!

На улице, смешавшись в праздной толпе отдыхающих, рыбаря охватил безудержный хохот над своей выходкой с букетом. И хохотал он долго, пока не почувствовал, что с ним случилась беда, хотя и не сразу осознал, какая именно?

Точно так же однажды на «ходовых», после капитального ремонта судна, рыбаки не сразу поняли, что случилось при учебной отдаче якоря. Грохотало, грохотало и вдруг привычный железный гул разматывающейся цепи оборвался каким-то несерьезным бульком. И все сразу стихло. Кто был на палубе, перегнулись через фальшборт – смотрят и глазам своим не верят.

Там, где из воды должна была тянуться в «ноздрю» судна – в клюз тяжелая якорная цепь, расходились круги. А из глубины всплывала невидимая, причудливая веточка, пунктирно обозначенная, будто бы ртутными шариками, пузырьками воздуха. Первым нашелся от наваждения пароходный громовержец, боцман Али-Баба:

– Братцы, «яшка» утоп! – И такое понес – «десятиэтажное»! – на мастеровых-заводчан за то, что те во время ремонта запамятовали закрепить последнее звено якорной цепи на «жвак-галс» в цепном ящике трюма...

То – якорь, а тут... у рыбака был сознательно не закреплен дантистом в целях «обкатки» целый «мост» в три зуба, который он во время его гомерического хохота над собой, в первый день *адаптации* с берегом (славненько гульнул на чужом похмелье), нечаянно проглотил.

Наконец, осознав приключившуюся беду, он рванул к ближайшей телефонной будке, чтобы позвонить в «Скорую», в надежде, что служба здоровья срочно поможет советами, как извлечь из чрева железяку фигурного литья!

На сбивчивый пересказ случившегося с ним несчастья он услышал с другого конца провода голос откровенного шутника:

– Пациент, да не берите в голову... В жизни случаются шутки и почище... Когда чудачки, вроде вас, умудряются проглотить за обедом столовую вилку.

– Алло, доктор, я серьезно! – в отчаянии прокричал в трубку пострадавший. – Завтра, после обеда, я должен вылететь на курорт к Теплому морю. Путевка горит синим огнем, доктор!

– Алло, пациент, – откровенно хохотнуло в трубке. – Уверю, ничего страшного не случилось... Это, всего-навсего, рядовой случай. Никуда не денется ваша пропажа.

В трубке отчетливо слышалось, что у говорящего от смеха першило в горле. И тут же донесся серьезный голос:

– Пациент, алло! Вы куда потерялись?.. Говорю, успеете со своим отлетом на курорт... А теперь, слушайте меня внимательно. Сейчас пожуйте черствого хлеба – он-то и препроводит ваш злополучный «мост», куда следует. И спокойно ложитесь спать. Да! Только прежде не забудьте снять в туалете со сливного бачка цепочку, чтобы утром, по забывчивости, не дернуть ее раньше времени... А главное, не паниковать: что сегодня посеяли, завтра пожнете. Итак, желаю удачи, уважаемый!

И в трубке заныли знакомые занудистые гудки надежды: SOS...

В этот злополучный вечер рыбак дальнего заплыва по совету шутника-доктора из «Скорой» сжевал насухо завалившуюся в хлебнице горбушку и спозаранку тоскливо завалился в кровать в ожидании «чуда». Но успокоиться же, как посоветовали ему по телефону, он не смог сразу. Пред его глазами прокручивался, как в калейдоскопе, так радужно начавшийся и так бестолково закончившийся первый день на берегу.

Успел только лечь, как перед его глазами замаячил печальный образ Мини-неудачника, который из-за семейных неурядиц с раскрасавицей-женой лишился визы и через это – на всех парусах – «категорически» налетел всем пузом на мель бытия.

«Как и чем помочь горемыке?» – думал рыбак, ворочаясь с боку на бок.

Откуда-то «явилась» ему и кудряво-разумная голова дантиста, канюча для своей «Волжанки» – на рычаг переключений скоростей – набалдашник с голой дивой в прозрачном чреве...

С какой-то стати не выходила из головы и его случайная пассажирка по имени Рээт с ее, видать, незадавшейся судьбой. Мало того, со слов ее любящей прабабки Эльзы Хансовны, он представил свою малознакомую Незнакомку в образе «кабатчицы» – с большими золотыми кольцами в мочках маленьких ушей и с дымящей сигаретой в углу рта, обрамленного ярко накрашенными, припухлыми губами, лихо орудующей за стойкой бара, невообразимо гудевшего хмельными голосами мореходов всей вселенной...

Да и как ему было заснуть, если он проглотил не какую-то безобидную косточку от вишни, а железку фигурного литья: «Как-то она еще поведет себя, шатаясь по темным лабиринтам чрева?» – думал он. А тут еще и жена стенает над ухом:

– Спасибо, уважил, любимый муженек... – со слезами в голосе выговаривала она. – Сознайся, ведь ты проглотил свой «мост» ради того, чтобы только не ехать загорать к Теплому морю, а чтобы отправиться в свою деревню?

Аля всплеснула руками и страдальчески закатила глаза:

– И это – за все-то хорошее?

– За что ж такое, хорошее-то?

– Да за все! – огрызнулась жена, подбочениваясь. – Хотя б за то, что девкой досталась тебе, дуралею!

– Ну, милушка, ну, ты и даешь! Нашла чем попрекнуть, – оскорбился муж на надоедливость жены.

И он было уже завелся, но тут под окнами раздалась мотоциклетная трескотня. Раздетая донага от всех глушителей, она походила на атакующую беспорядочную пулеметную пальбу. Одновременно и за стеной загрела на всю катушку еще и бесшабашная ударная музыка: «буги-вуги».

Это настал звездный час вечерних развлечений их соседей. Великовозрастных башковитых братьев, у которых, у каждого, было свое хобби, мешающее им жениться, о чем горевала их смиренная матушка, тоскуя по внучатам. Старший – автобазовский механик был влюблен в мотоциклы. И не столько жаждал ездить на них, сколько любил без конца отлаживать их у крыльца, что-то все «форсируя» в моторе. Младший – портовый радист души не чаял от «магов», выставляя их по вечерам на подоконник у раскрытого окна.

– Ну, завели, братцы, свои шарманки! – возмутилась Аля.

Чтобы хоть как-то досадить мужу за его, как ей и на самом деле думалось, обман, она под видом спасения от шума взяла подушку и ушла в другую комнату спать на диване. В дверях еще и язык укоризно показала: спи теперь, мол, один, как у себя на пароходе: «в ящике».

Мужу же-рыбарю шумовые помехи, пока были до лампочки. В первые дни по приходу из рейса, после пароходного машинного гуда, наоборот, тишина давит на уши – до колик.

Убаюканный взрывами мотоциклетной трескотни под громыхание ударной музыки и обволакиваемый благими помыслами о предстоящем отдыхе на курорте, он вскоре забылся от всех душевных забот о близких и любимых. И о своей нелепой напасти с зубами. А главное, после курорта у него останется еще отгулов и на родные палестины, куда он с загорелой и счастливой женой, как снег на голову, нагрянут – добирать здоровья уже на песчаной натоке своей Бегучей Реки Детства. От такой выстраданной в море заслуженной благодати к расслабившемуся рыбарю пришло успокоение и он не заметил, как его подняло в заоблачную гулкую синь.

...Серебристый лайнер, обвалью грохоча пламенем из закопченных сопел-ноздрей, словно огнедышащий Змей-Горыныч с нахрапом вламывался в заповедные выси Господни.

Внизу уже завьюжило и небесная поземка замела земные стежки-дорожки. Рыбарь, беззаботно посматривая в иллюминатор, похожий на судовой, наконец-то осознает себя дачником, отчего на душе у него – праздник пресветлый! Оно и понятно, впервые летит к морю – не работником его, а егогостем, среди таких же, как и он, не обремененными трудовыми заботами людей. И в нем сама запелась навязчивая с утра песенка: «Теплоходом, самолетом...»

Поет рыбарь-дачник, как соловей, заливаясь на зорьке, и вдруг слышит пронзительный звонок. «Откуда взялся в небе трамвай?» – недоумевает он. И тут же отчетливо узнает голос жены:

– Где расписаться?

Потом он услышал, как хлопнула входная дверь. «Неужто она под расписку шагнула в небо?!» – ужаснулся муж и окончательно проснулся.

В спальню вошла Аля – серьезная и чем-то озабоченная:

– Из деревни пришла срочная телеграмма, – сказала она, подавая мужу телеграфный бланк.

Иона Гаврилыч резко сел в кровати, пробежал взглядом по тексту и, как говорят моряки в таких случаях, «не врубился»:

– Да выключи ты эту, чертову шарманку! – осердясь, выкрикнул он жене, показывая на радиоприемник – напротив у окна. И тут же догадался, что бушующая какофония за окном – это веселые штучки-дрючки неумных великовозрастных братцев-соседушек. Чтобы перешибить их сумасбродство, он стал громко читать: – «При смерти дядя-крестный приезжай блудный сын не мешкай ежель хочешь встренуться с ним на этом свете».

...За окном внезапно полыхнула искристо-голубая молния, выбелив во дворе вековые дубы, будто накинув на них саваны из льняного суровья, и тут раскатисто ударил гром. Можно было подумать, он, небесный разбойник, давным-давно сидел верхом на крыше, хоронясь за трубой с поднятым всесокрушающим молотом, чтобы разом накрыть рушителей тишины. И верно, ни мотоциклетной трескотни, ни хриплого воздыхания за окном больше не было слышно. Тихо стало. И в наступившей тишине как-то громко послышались слова Али, хотя она и сказала их как бы про себя, полупшепотом:

– А как же теперь с путевкой к Теплому морю?

– Да плюнь ты на эту чужую бумажку... – вскипел муж, вскакивая с кровати. – Теперь, милушка, поедем, как и было задумано – к «теплым» мстинским берегам, где нас ждуть-не дождутся! – Он хотел было в утешение обнять жену, но та упрямо вывернулась из-под руки и ушла снова к себе в комнату, на диван, оплакивать в подушку привалившуюся было свою голубую мечту побывать на курорте.

Муж же, напротив, окрыленный неурочной побудкой, подошел к окну, распахнул настежь створки рамы, и в спальню, паруся легкими шторами, вместе с вечерней прохладой ворвался ликующий шум напористого дождя, который как бы смывал с рыбаля дальнего заплыва его окаянную *адаптацию* – к тверди земной, после каторжного моря.

И он снова, в который уже раз на дню, молитвенно воздал хвалу Создателю нашему за его неисповедимые земные деяния:

– Господи, хорошо-то как, а!.

Глава 3 Ностальгия

Ах, пути-дороги, да мысли-птицы – наши вечные попутчики...

...И вот, вместо того, чтобы лететь самолетом отдыхать к Теплому морю по премиально-дарственной путевке расщедлившейся родной «Рыбкиной конторы», Иона Веснин, вконец очумевший от океанских просторов за долгий «спаренный» рейс, длившийся без малого целый год, будто в душе запел: «Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода!»

Уже на второй же день по приходу в родной порт сел в междугородный (ныне международный) автобус-«экспресс» Таллин – Новгород (Великий) и в ночь отбыл к зеленым кручам Бегучей Реки своего Детства. На последний поклон к дяде-крестному, лежащему, как извещала «срочная» телеграмма, на смертном одре...

...С щекотно-обморочным говорком мягко шуршат колеса по нагретому за день асфальту. Нескончаемой лентой стелются бессчетные километры. За окном автобуса то промелькнет подступающий к шоссе темной стеной снулый ельник, то широко разольется парным молоком укрытое густым туманом поле или луг.

По старой своей профессиональной шоферской привычке он не мог спать в автобусе. Чуть только смежит веки, как ему начинало блазнить, будто бы сам сидит за рулем, и машину тянет в кювет. Особенно, когда шофер резко притормаживал перед зазевавшимся со сна зайцем посреди шоссе в полосе света фар. А когда не спится, в голову-то чего только не прибрет, о чем только не подумается из прожитого жития-бытия...

Ехал с шиком отпускник в родные палестины, а в думах, от нетерпения долгожданной встречи с однопалестинцами, где один другого причудливее, словно бы перелопачивал свою автобиографию с подробностями. Какую ему не единожды приходилось излагать укороченно в анкете личного дела при оформлении выездных документов на заграничное плавание.

«Родился я, Иона Веснин, в 1929 году...»

А если излагать с подробностями, как иногда накатывало на него, то родился он в *разломное* для русской деревни время, в преддверии сотворения колхозов, на берегах Бегучей Реки, пока еще незамутненной, игриво-молодящейся, на каменных перекатах девы-Мсты, помолвленной на веки вечные самим патриархом лесисто-речного края – Синь-озером Ильмень! – с полноводным и величавым Волховом, вхожим без «стука» в закатные дали...

А если еще точнее сказать, родился он в веселой во все времена деревне с чудным названием «Частова-Новины» (колхоз имени Ворошилова). Вольно располагаясь среди обширных болот ягодных и медноствольных звонких боров – знатно грибных. В полста километрах от Града Великого (Новгород-на-Волхове), еще недавно непролазно-ухабистой, кривой дорогой до большака, служившего (и поныне служит), живой «пуповиной» между двух равнозначных российских столиц... И сносно обустроенной с асфальтовым покрытием в «застойно-застольные» годы, когда областная новая знать, большая и малая, вошла во вкус дачного сервиса, чему способствовала ниспосланная самими небесами благодатная мстинская природа...

По преданию старины далекой, деревня его «деревянная» сложилась из верховских изб, которые в один из вешних буйных паводков были сорваны полой водой с дедовских каменных основ, выложенных из замшелых валунов со следами ледникового периода, и – в добрый путь, по Божьей воле – по-плыли! Вниз по течению, под голосистые распевы огнистых петухов, важно расхаживающих по «конькам» кровель, как живые самовары. Так при спаде большой воды многие строения верховских деревень оказались в беспорядочном скопе на обмелевшей травной луке, между лесными ручьями Огорелец и Крупово – изба к избе. И все «задом напе-

ред друг к другу». Потому так и окрестили новоселы по несчастью свое чудное поселение: «Частова».

Речные переселенцы, видно, огляделись кругом на новом месте да и порешили, что не все для них потеряно. По-над кряжами стоял, на загляденье, строевой лес. И в придачу еще и пойменная лука для сенокосов и выпаса скота. Где еще лучше и краше сыщешь на земле место для жизни?

И вот счастливые речные переселенцы, после всех пережитых страхов, охов и ахов, перекрестились во свое спасение на все четыре стороны, наострили топоры на береговых кремневых камнях да и принялись отстраиваться: основательно и навсегда. Задористо, друг перед другом ставя духовисто-смолистые пятистенки, рубленные в лапу, с развернутыми окнами на раздольный дугообразный плес. Между нижним перекатом Ушкуй-Иван, с каменным одиноком Кобылья Голова, перед Рыбной Падью и в верховье – Грешневским омутом, обжитым пудовыми усатыми сомищами, прозываемыми в приречье «чертовыми конями».

И что удивительно, по преданию старожилов в третьем колене, делали-то речные переселенцы все путем да по уму. Строя новую деревню, они не порушили и старую на сенокосной луке. Подновили да и оставили впрок для хозяйственной надобности: под каретники и сенные амбары. И веселый березовый бугор Грядка, деливший новую деревню надвое, застолбили для забав душеугодных: поставили качели с отчаянным выносом по-над кряжем на реку, чтобы задорнее визжали девки, гуляями возносясь в небо...

К строящейся деревне как-то сразу прижилось и второе ее название, как приложение к «Частове»: Новины.

А когда двухименная деревня мало-мальски обустроилась-обжилаась (конечно, это случилось не вдруг и не сразу, на это ушли годы), видно, была кем-то примечена из важных столичных вельмож, заезжих охотников-медвежатников. И по их наущению, уже по царскому Указу была отписана за какие-то государевые деяния во владения дворян. И поныне живет память о том далеком прошлом времени: один край от лесного ручья, делившего деревню надвое, прозывается Козляевским, другой – Аристовским. Правда, в деревенскую бытность случалось и такое, когда жениховатые, «паровые» мальцы, разгоряченные на посиделках или на танцульках под развесистыми березами на бугре Грядка, в соперничестве из-за бедовых невест шли край на край. На чужих же престолах новино-частовские сорванцы с дреколем в руках ломили одной необоримой стеной.

В лесных угодьях Частовы-Новины сохранилось в людской памяти еще однознаковое обозначение местности того стародавнего времени: «Барская нива», боровое веретье, давним-давно, да и не по первому кругу, заросшее кондовым сосняком. На это, воистину лесное диво природы даже в послевоенный всесветный разор Града Великого не решились поднять топор...

Но вот наступили недавние времена «вседозволенности», люди осмелели духом демократизма и – вперед, ребята! Взяли да и вырубили. И хотя бы на дело, а то ведь «на поддержку штанов», на простое проедание... В деревне покупают в сельпо хлеб, завезенный незнамо откуда, в то время как возделанные когда-то еще топором да сохой нашими дедами и прапрадедами пашни одолевает сорное мелкоколесье «дикого поля». К тому же еще и варварски захлამили неубранностью остатков от бесшабашного лесоповала уже бывшие, воистину храмовые поляны, которые во мстинском приречье прямо-таки боготворили. Обо всех этих творимых безобразиях рыбаю было доподлинно известно из редких писем от дяди-крестного, известного в приречье Данилы-Причумажного.

«Бог ты мой, сколько ж и какого времени прошло с тех пор, как я покинул родные места?» – вдруг накатило на отпускника, исподволь подремывавшего на мягком сидении ночного экспресса, мчащего вспять его прожитой жизни.

Он хотел было смаху окинуть прожитое им свое Время и не смог. Слишком Оно было у него многомерным и не всегда ласковым к нему. Может, потому-то он и зацепился воспоминаниями о деде своем по отцовской линии, Мастаке-старшем, деревянных дел приречья, Ионыче. Заглавном корне родового древа его, Ионы Веснина памяти. Правда, в живые он его не помнил, разминулись они на этом свете в один и тот же день: один пришел в него, другой ушел из него, но по живучей молве деревни знал о нем решительно все! И даже «помнил» говоренные им слова на сельских сходах своим однодеревенцам, еще до его, Ионкиного, рождения: «Путный мужик, сколь бы ни выпил, когда бы ни лег спать с вечера, утром встанет вовремя. С первыми петухами и сразу же берется за дело: в оправдание себе за вчерашнюю промашку».

Или: «Вся дневная работа – до обеда, после обеда – прибавка уже к сделанному. И не более!»

«Ах, деревенька, ты моя – деревянная», – про себя, прочувствованно, повздыхал словами поэта отпускник-рыбарь, погружаясь к истокам своей родословной...

Глава 4

День архангела Гавриила

В доколхозное время деревня Новины слыла на всю округу своей нарядностью – затейливыми узорами на окнах и княжьими крыльцами с точеными столбиками и балясинами, распиленными на плашки. И все это было дело рук и выдумки местного умельца-столяра, которого за его мастерovitость новинские аборигены называли только по отчеству: «Наш Ионыч!»

А счет времени как Мастака пошел для него раньше. С его свадьбы, когда он еще в начале века вернулся с русско-японской войны с костылем в руке на постоянное жительство в деревню (до призыва в солдаты он с мальчишества жил в Питере, где прошел большую выучку у мастера-краснодеревца) и сразу же женился на раскрасавице Груне.

Свадьба вышла до того веселой, что на второй год, на именины молодожена-мастера, не сговариваясь, пришла вся деревня со своей снедью и казенкой, дабы не в накладе было гостевание. Да потом так и повелось: день архангела Гавриила прижился в Новинах как бы третьим престолом – после Николы-чудотворца и яблочного Спаса.

Что ж касается своих именин, то столяр и потом не слал селянам личных приглашений, каждый должен был решить сам – идти ему в гости к мастеру или нет, но готовился к ним, надо сказать, всякий раз с замахом на всю деревню. И особенно прослыл, когда основательно укоренился в Новинах большим мастаком варить забористую медовуху, благо мед в ту пору имелся в достатке. В его залужалом просторном саду уже стояло десятка два добротных ульев. Выкрашенные а яркие цвета, чтобы не путались пчелы, они походили на разноцветные кубики, старательно выпиленные послойно из небесной радуги.

На последней неделе перед именинами Ионыч зорями пропадавал на реке: ловил вершами рыбу, накапливая ее в садке, устроенном в жерле ручья Весня, который протекал через его сад. Он-то, ручей, и дал когда-то фамильное прозвание древнему роду мастера, предки которого облюбовали зеленый угор, рядом с говорливым жерлом, для вечного поселения. А сам ручей так прозывался из-за дальних лесных ключищ, откуда он брал свое начало. Лишь в самые трескучие морозы он схватывался льдом, а так всю зиму был по-весеннему полым. Вот, видно, и прозвали первые поселенцы Новин свой бегучий лесной ручей Весней.

Накануне праздника жена столяра Груня, не в пример мужу-живчику, статная и дородная, всю ночь пекла румяные рыбники с начинкой из саго, густо приправленной зеленым луком и укропом. По утверждению новинских чревоугодников, лучшей закуси под медовуху не бывает. Пироги же со сладостями, с первой лесной ягодой-голубикой, пеклись в это утро во всех печах деревни. И каждая уважающая себя хозяйка старалась не ударить в грязь лицом. Потом все шли в гости к своему мастеру, каждая со своим пирогом-молеником, гордо неся его перед собой на решете, прикрытом рушником, вышитым красными петухами.

Сам же праздник начинался рано, но не с застолья. С утра мужики и подростки, одетые по-будничному и с косами на плечах, тянулись к дому столяра, где потом на прибранном лужке заулка придирчиво проверяли друг у дружки насадки литовок. Хвастались самодельными точильными косниками – деревянными лопатками с посаженным на них на еловую живицу речным песком. Тут же шла и отбивка кос в три-четыре бабки, вогнанные в двуногие козлы, о чем загодя заботился хозяин подворья. И молодежь перенимала сноровку этого непростого, тонкого дела у хватистых мужиков-косоправов.

Но вот с литовками все в порядке, и косари, испив шипучего груниного кваса, веселой гурьбой перебирались по широкой лаве через жерло ручья на зеленый косогор, чтобы опробовать в деле свои косы, направленные «вострее тещиноного языка».

По домам косари расходились обязательно с вязанками свежей кошенины. Стоящий мужик ничего не делает ради блажи. Если он и потешит душу чем-то, то чтобы от этого непременно вышла и польза. А как же иначе?

Праздничные столы ставились в подоконии, под вековыми развесистыми березами. На случай непогоды столяр прибирал и свою просторную мастерскую – вторую избу, соединенную с жилой одним водосточным деревянным желобом и теплыми сенями. То был, как говаривал не без гордости сам мастер, «храм англицкой стали», где все стены от пола и до потолка были увешаны станковыми пилами, продольными и поперечными ножовками, узкими и широкими, коловоротами, буравами и буравчиками и разными шаблонами для резьбы и выпилки по дереву.

Справа у стены, упираясь в массивную, напитанную вареным маслом подоконную подушку, стоял ухоженный ясеневый верстак с разложенными на нем по ранжиру точеными деревянными молотками – киянками. Над верстаком высилась большая полка, где в нижнюю ее доску были просунуты стамески и долота с яблоневыми и вишневыми ручками (они не колются от ударов киянки и мягки для рук в работе). Доской выше были разложены в косой рядок светлые рубанки с ореховыми держачками, – будто улеглись на бережку молочные поросята, а к ним как бы подплыли с гордо выгнутыми шеями навощенные фуганки-лебеди. А еще выше располагалось заносчивое бюрогерство, где всяк себе господин, – шпунтубели, фальцгобели, зензубили, отборники, калевки, ярунки, ресмусы, галтели и много других и разных, так нужных в столярном ремесле штуковин, названия которых знал только сам мастер.

И до чего ж «струмент» столяра был соблазнительным своей ухоженностью, – так сам и просился в руки, чтобы сделать что-то для души. Потому и сиявший на дубовой подставе у печного отдушника начищенный ведерный самовар при его бессчетных медалях на выгнутой груди не чувствовал себя здесь генералом. И русская печь не выглядела сановитой владычицей четырех углов, рубленных «в лапу». Она скорее походила на добрую выносливую вьючную лошадь: была обложена сверху и с боков «матерьялом» – досками и брусками, высохшими до колокольного звона. Потому-то тут, когда переступал порог, и не шибало крестьянским кондовым дурманом – лоханью, пойлом, овчинами и луком...

К столяру в его «храм инструментов» всегда любили захаживать новинские мужики. Особенно в длинные зимние вечера. И не обязательно с заказами, а просто так – полюбоваться, как работает мастер, поделиться деревенскими новостями.

Но близилась пора, когда отлаженный временем уклад селянского бытия в Новинах – деревне русской, деревянной – был махом порушен. В начале коллективизации, видимо, для сговорчивости мужиков, чтобы охотнее вступали в сельхозартель «Новая жизнь», были раскулачены мельник Кузьма Криня и столяр Ионыч. И почему именно на них, становых селянских разночинцев, пал черный жребий? Да потому что кулаков, как таковых, не только в Новинах, но и во всей их лесной, болотно-подзолистой округе просто не было. Если кто-то и жил исправнее других, так он уже смолоду становился горбатым, а не богатым.

Из-за малоземелья многие новинские мужики издавна занимались отходничеством. Погонят по большой вешней воде плоты в большую Деревню – Питер да и застрянут там на целое лето, подрядившись в артель плотничать. Домой добыткики возвращались на Покров с обновами для семьи и родни и с немалыми деньжатами, для надежности зашитыми в опушку исподников.

Так и жили новинские в ладу с собой – не особо богато, но и не бедствовали. А главное – чувствовали себя вольными людьми. У всех были как на каждый день, так и на выход, катанки и полушубки; имелись и запахистые тулупы ездить на пожни за сеном. И это будет последней овчинной одеждой и валяной обувью, что издавна нашивалась в Новинах. Колхозы с первых же дней подрубят под корень исконную романовскую плодovitую овцу-шубницу. Чьим-то волевым решением сверху попытаются заменить ее южной курдючной породой, которая никак не

пожелает прижиться в сыром северном краю. Потом селяне на многие годы оденутся в ватные «арестантские» стеганки (на местном наречии – «куфайки»), обуются в охломонистые резиновые чёботы и будут в них мыкаться – зимой и летом, в будни и праздники.

Впрочем, много всего несуразного будет потом в Новинах... А пока у северян еще имелись и катанки, и шубы с тулупами; по праздникам пеклись в печах и пироги. Однако ж вернемся к новинской истории.

На фоне опрятной деревни и размеренной жизни ее сельчан резко выделялся своей беспросветной расхлыстанностью Арся Тараканов, лютый недруг столяра и мельника. Одного невзлюбил за «золотые» руки, другого, как сам в открытую признавался, за его «хлебное рыло».

Видно, во все времена в каждой деревне выискивался такой упырь, но в Новинах он был на особицу, с какой-то своей причудью и придурью. Ну, взять хотя бы такой факт: Арся никогда не имел заботы, как все его однодеревенцы, ездить в лес за дровами. Зимними ночами он втихаря к весне начисто растаскивал все соседские изгороди и заплоты. Покушался он и на звонкие поленницы соседей. Но тут, как ни ловчил, как ни осторожничал он, его подстерегал подвох, кончавшийся большим конфузом перед всем честным народом. Соседи, чтобы не оставаться в долгу перед прохиндеем, тайно закладывали в поленья пороховые заряды. Поэтому в самую зимнюю стужу нет-нет да и раздавался в его спотыченной избе громовой грохот летевших из закопченного чела печи через окно на улицу щербатых чугунов, где они потом еще долго шипели в снегу, исходя белыми клубами пара. Только чудом оставалась в живых Марья Тараканиха, хотя в те черные для нее дни она ходила по деревне хухрей, вся залубеневшая от сажи. В престолы новинские мужики не раз пускали прохиндею юшку из его курносой заносчивой сопатки. И как об стенку горох: эти «припарки», как шутили новинские, ему не шли впрок.

Жил Арся хуже самого распоследнего стрюцкого – бедно и тесно, ютятся со своей горластой оравой на одной половине избы. Вторая половина, которой не суждено было стать горницей, так и стояла «слепой» – с непрорубленными окнами и без пола и потолка.

Если и умел Арся что-то делать, как сказал бы новинский столяр Ионыч, «на ять», то это строгать со своей плодovitой Марьей себе подобных огненно-багряных курносиков. И все они удавались у них на удивление – на один копыл, будто строгали их из одного полена. Поэтому и прозывались они в деревне безымянно: Арсины Пестыши. В отличие от зародышей полевых хвощей-пестышей, которые во все лихолетья, чтобы не умереть с голоду, ела новинская ребятня, Арсины же Пестыши всегда сами хотели есть.

Так и жил бы Арся в своей беспросветности, не объявись однажды в Новинах в преддверье 1929 года трое в потертых кожанках из района. Среди них была одна бедовая краснощекая девица в лоснившихся от долгой носки бриджах. Они прошли по улице из конца в конец и остановились напротив Арсиной избы, решив, что беднее хозяина нет в деревне.

Когда они вошли в избу, хозяин лежал на печи в глубоком раздумье: «Што ли встать да подшить катанки, а то ить совсем подошвы прохудились. Да и мороз пятки кусает, оттого что задники уже давно каши просят».

Но вставать лежебоке никак не хотелось, а тем более взять да засесть сапожничать. К тому ж в хозяйстве не водилось ни дратвы, ни шила, надо было бежать к соседу на поклон. Да и не умел Арся, как все его соседи, рукомеслить по дому, а главное – лень-матушка разламывала его неизработанное гладкое тело.

– Видали?.. Кругом бурлит жизнь, а он, кот замурзанный, лежит на печи и ловит себе рыжих прусаков! – обращаясь к своим спутникам, рассмеялась девица в бриджах. И тут же прикрикнула на хозяина дома, ошалевшего от столь неожиданного визита гостей в кожанках, туго перепоясанных широкими ремнями с прицеленными к ним кобурами на боку: – А ну,

вставай, проклятем заклеянный, да собирайся в Новино-Выселки. Живо! Поедем делать коммунию!

...В разгар нэпа из Новин выделились четыре двора, образовав в Заречье, в трех верстах ниже деревни, выселок под названием Новино-Выселки. Это две семьи братьев Неверовых – потомственных шерстобитов, которые зимами ездили по деревням со своей самодельной машиной, где чесали шерсть и катали валенки. И две семьи братьев Раскиных – тоже потомственных деревенских кузнецов. Старший Иван был мастером заводской выучки. Его судьба была чем-то схожа с судьбой столяра Ионыча, только сдвинута во времени. До революции он работал на одном из петроградских заводов, на который подростком нанялся молотобойцем в конце четырнадцатого года, когда рабочие руки кадровых мастеров сменили молоты на винтовки.

Во время гражданской войны Иван, уже как участник ее, был тяжело ранен в бедро на польском фронте. После госпиталя, когда он вернулся в Петроград к себе в семью, жить в неотапливаемом каменном бараке-казарме было холодно и голодно. И тогда-то питерские Раскины, Иван да Марья, решили возвратиться в родную деревню к младшему брату Семену, чтобы подлечиться и переждать лихолетье послереволюционной разрухи.

И вот, на деревенском приволье и парном молоке, по мере выздоровления Иваном-Кузнецом, как прозвали новинские своего земляка-петроградца, стала овладевать идея товарищества по совместной обработке земли, про что он время от времени читал в газетах. В своих разговорах он стал исподволь подбивать на товарищество и своего младшего, уже семейного, брата Семена, а также братьев Неверовых, гордых и мастеровитых мужиков, с которыми Раскины издавна водили дружбу. Братья двух родовых корней из четырех семейств долго спорили да рядили и в конце концов порешили: быть Новино-Выселковскому товариществу по совместной обработке земли.

Первые три лета у новоземельцев ушли на раскорчевку угодий под пашню и сенокосы. Зимой женщины хлопотали по хозяйству, ухаживали за скотом; мужчины с топорами в руках от зари до зари с неистовством обустроивались.

На четвертый Покров братья-новоземельцы въехали в добротные пятистенки с мезонинами, повернутые окнами на реку. Новино-Выселковские «хоромы» (так новинские не без зависти окрестили дома братьев-новоземельцев) не жались, как в деревне, друг к другу тынами надворных построек. Даже было как-то непривычно для глаза на новых подворьях, где просторно расположились на задах хлевов и конюшен такие же добротные амбары, сенники и каретники: ничего не валялось под открытым небом, все было прибрано под крышу.

После новоселья, как только пошабашили с молотью на новом гумне, новоземельцы приступили к главному делу, ради чего, собственно, они и решились на товарищество. Братья Неверовы с подросшими сыновьями стали чесать шерсть на своей самодельной машине да катать валенки на потребу всей округи. Попробовали овчинничать, и это пошло. А братья Раскины развели горн опять-таки в нововыстроенной кузнице, и округа огласилась веселым наковальным перезвоном.

На другую зиму в пайщики товарищества попросился и новинский столяр. Мастеровитый Ионыч стал поставлять братьям-кузнецам свои поделки: дровни, сани-возки, телеги и тарайки, те оковывали их и уже готовыми продавали округе.

Так у Новино-Выселковского ТОЗа появились живые деньги, которые предприимчивые новоземельцы тут же пускали в оборот. Сперва к весне прикупили парные плуги. К лету обзавелись тремя сенокосилками и парой жнеек-лобогреек. А осенью на гумне голосисто загудела молотилка от конного привода. Он-то, привод, и подтолкнул Ивана-Кузнеца засесть за чертеж.

Вскоре новинский столяр получил от товарищества очень ответственный заказ.

– Ионыч, предстоит сделать деревянную машину на восемь персон для трепки льна, – важно заявил Иван-Кузнец, кладя на верстак перед столяром не очень совершенный эскиз сво-

его изобретения. – Не скрою, дело мудроватое, но нужное. Эта машина во много крат облегчит новинским бабам их льняные хлопоты. Да и наш конный привод не будет гулять зимой после молотбы. – И довольный собой, он по-доброму посмеялся. – Жизнь, Ионыч, это постоянный загляд в завтра.

– Башка, Иван, башка! – похвально отозвался столяр, как только вникнул в замысел деревянной чудо-машины о восьми маховых колеса на шестьдесят четыре трепала.

Бывшие новинские питерцы-умельцы несколько вечеров провели в жарких спорах, во время которых столяр внес немало и своих дельных поправок, с чем кузнец не мог не согласиться. Потом, как водится в таких случаях, головастые мужики ударили по рукам, затем отвели ионычевой забористой медовухи, а песня сама пришла к ним. Любимая песня Ионыча:

*«Трансвааль, Трансвааль, страна моя,
Ты вся горшишь в огне...»*

Эту песню «Трансвалию» он и привез во мстинское приречье из Большой Деревни – Питера, где долечивался в военном госпитале Его Величества, после русско-японской войны 1904–1905 гг.

К наковальнему перезвону из Заречья мужики в Новинах прислушивались чутко.

– Маткин берег – батькин край, а у братанов-новоземельцев дело-то пошло ходко! – не без зависти рассуждал Матвей Сидоркин – мужик средней руки.

Ему вторил и молодой рассудительный мужик Сим Грачев, прозванный в деревне за компанье слов «вообще-знаешь» Грачем-Отченаш:

– Однако ж, обченаш, разворачиваются мужики на Новино-Выселках.

Мужики чесали в затылках и что-то соображали:

– Да-а, сама жисть заставляет кумекать...

Пройдут годы, десятилетия, и немногие новинские старожилы, кои останутся в деревне, все будут помнить то интересное время, когда всплеск жизни исходил как бы из самой жизни.

И только один Арся Тараканов матерился, как только бывало заслышит долетевшие по ветру из Заречья перезвоны молотов:

– Ух, богатеют буржуи недобитые... Ужо доберемся и до них, гадов ползучих! – грозился он кулаком в сторону Заречья.

И этот, роковой для Новино-Выселок, час пробил. А его «оракула», новинского предкомбеда Арсю, застал почивавшим на печи, когда к нему в спотыченную избу вошли трое районных ухарей, перепоясанных широкими кожаными ремнями с прицепленными к ним кобурами на боку, позвав *его*, Закоперщика Новой Жисти, «делать Заморскую Отчебучу», как потом назовут новинские аборигены сотворенную в однодненье в Заречье на справных тозовских подворьях Новино-Выселковскую коммуу.

А сотворить ее оказалось проще простого. Даже и лоб ни у кого не взопрел от крутого кружа, не говоря уже того, чтобы у кого-то с насаду защемило в межножье. Только-то и всего, что ретивая тройца в порыжевших кожанках с чужого плеча для острастки помахала наганями над головами. А девица в лоснившихся от долгой носки бриджах (и тоже ясно, что не в своих) пальнула в воздух. Так это ж с перепуга, когда старший из братьев-шерстобитов во гневе схватил закладку от ворот...

Потом новоземельцев с немногими узлишками, какие им позволили наспех собрать перед дальней дорогой, усадили в их же розвальни и повезли в Никуда. А пока – до ближайшей станции на сборный пункт под охрану все тех же «огепеушников»-коммунаров, как сказывали тогда в деревне.

В те же розвальни к бывшим гордым тозовцам, обреченным на гибельную неизвестность, посадили еще и возниц, таких же, как и Арся-Беда расхристанных мужиков из окрестных

деревень. Им надлежало пригнать со станции обратно подводы и осесть в Новино-Выселках на постоянное жительство вместо «Товарищества». Правда, на возвратном пути стряслось непредвиденное: не досчитались двоих будущих новоселов. Один беспутный мужик в радостном предвкушении новой «жисти» опился на дармовщину и захлебнулся в собственной блевотине. Другой шалопут с пьяного угара решил прокатиться с ветерком: настегал кнутом сытую хозяйскую лошадь, и та, ошавев от стрюцкой наглости (ведь настоящий хозяин погоняет коня – не кнутом, а овсом), во весь опор прынула в глубокий придорожный овраг, убив и себя, и горездока. Такая вот вышла неприглядная история на зачин Новино-Выселковской коммуны, то есть «Заморской Отчебучи», которая родилась в однодненье на крутых берегах Бегучей Реки, родилась на готовенькое, вызывая в деревне Новины – праматери Новино-Выселок ревнивое осуждение: «Из лаптей да – в сапожок!»

И вот, со дня рождения коммуны на Новино-Выселках в деревне Новины не стало слышно заречных наковальных перезвонов. Зато вместо них часто доносились по ветру на вечерней заре забористые переливы гармонии и пьяные разухабистые голоса, певшие про попов-дармоедов, буржуев-кровопийц. И бахвалисто про свое неприкайнное коммунарское житье-бытье:

*Все мы – комиссары,
Все мы – председатели,
никого мы не боимся —
Па-ашли к я. ни матери!*

Новоявленные соседи часто околачивались в деревне перед сельповской лавкой, не вызывая к себе доверия. Все они были, как мартовские коты, какие-то взъерошенные и с перепарпаннными похмельными обличьями. Ими новинские матери пугали своих еще несмышленных неслухов: «Вот отдам в коммунию, тогда будешь знать...» Или: «Счас заберет тебя коммунар себе в котомку!»

Всего лишь зиму и продержались новоиспеченные хозяева. Пришла весна, надо было пахать да сеять, а на поверку вышло – не на чем и нечем: тягло, инвентарь, семена – все куда-то подевалось, как в тартарары провалилось. В просторных хлевах, недавно переполненных живностью, стояла глухая немота. Ни ржания, ни мычания, ни бляения, ни хрюкания, ни кукареканья не было слышно на бывших новоземельских подворьях. Но особенно было больно видеть, как в распахнутых настезь каретниках лежали на «брюхах» телеги и таратайки, – куда раскатились от них колеса, никто не ведал. Нажитое в трудах и заботах домовитыми братьями-новоземельцами, все пошло прахом через новых размашистых хозяев.

И только пожар выручил новино-выселковских коммунаров от их неминуемого позора. Беда случилась в сухую ветреную ночь великого пьяного шабаша: праздновали день «тружущих» всего мира – Первое мая. Начисто выгорели из четырех три подворья.

Если родилась коммуна в однодненье, то закончила свое бесславное существование в одночасье, на что новинские девки не замедлили откликнуться язвительными припевками: «Ели, пили, веселились, а проспались – прослезились».

Оставшемуся не у дел предкому с семейством горластых пестышей пришлось перебраться с вольного «коммунячьего» житья обратно в деревню, в свою спотыченную избу с худым скрипучим крыльцом. А так как он по-прежнему оставался в деревне беднее всех, то его, вместо того чтобы отдать под суд за разор Новино-Выселковского ТОЗа и коммуны, районное начальство назначило уполномоченным и велело подпоясаться широким ремнем с кожаной кобурой. А что бы это значило, Арся не знал, лишь нутром догадывался, что в деревне грядут большие перемены.

– Надеемся на вас, товарищ Тараканов, – сказал детинушка с простоватым широким лицом – из бывших станционных «помазков» (смазчиков букс), сменивший замасленную куртку на кожанку. – Что ж... первый блин у нас вышел комом. А за свою ретивость с этого дня считай себя коммунистом. Я уже об этом распорядился. А в деревне пока до поры до времени называйся по старинке: *предкомбедом*.

– Слухаюсь! – гаркнул Арся, часто взмаргивая своими сообразительными хорьковыми глазками.

Из района Арся-уполномоченный заявился в Новины – орлом! И в первый же пьяный кураж после возвышения он навестил своего заклятого недруга – мельника, на котором не терпелось ему испытать дьявольскую силу «ржавой пукалки», как потом новинские нарекут его наган.

Мельника он застал у себя на подворье – шел усталый с дневного помола, весь запыленный мукой.

– Ну што? – сбывчившись пьяно, спросил трудягу новоявленный новинский предкомбед-уполномоченный. – Наел свое кулацкое рыло и – ша! Теперь другие будут лопать, а тебя, контру недобитую, втопчу в грязь! – И Арся картинно выхватил из кобуры наган, наставив его в упор на опешившего мельника. И тот струхнул, хотя кулаки у него были с Арсину голову, но, оказывается, не в них дело.

– Арсентий Митрич, благодетель ты наш... пощади ради деток моих, пятеро их у меня, – взмолился мельник, рухнув на колени.

Столь неожиданный оборот поставил насильника в тупик: никак не думал, что его порожня «пукалка» так грозна. И ох, как пожалел, что ему не выдали патронов, а то еще не так бы пугнул, выстрелил хотя бы в воздух. И вот, скользнув глазами по ровной березовой поленнице, он глумливо приказал:

– А ну, разваливай дрова! Ишь завел тут барские порядки, штоб все было по линейке да по шнурку!

И тишайший трудяга-мельник, который за свою жизнь и мышь, наверное, не прогнал с мельницы, как провинившийся издольщик, угождая прихоти хозяина-лиходея, стал собственными руками рушить отлаженный годами порядок у себя на подворье, валить поленницу.

И надо было случиться такому – в этот недобрый для мельника час на мельницу заглянул по какому-то делу Сим Грач-Отченаш. Увидев Арсю, размахивающего наганом перед мельником, он схватил с изгороди ограненную березовую заготовку для дышла телеги и разъяренным медведем, раскорячась, пошел на обидчика. Сейчас Грач-Отченаш не только на ржавую «пукалку», на пулемет бы пошел. И это, видно, хорошо понял Арся. Пьяный-пьяный, а так сиганул с мельницы, что перепрыгнул изгородь в маховую сажень. И только эта прыть уберегла его от березовой орясины, которая следом за ним проломилась до самой земли жердяное прясло.

Как ни странно, этот факт не вышел за пределы мельницы. И тому была причина. Жаловаться на «местное начальство» в лице Арси было не в пользу мельника. После разгрома в Заречье ТОЗа и падения там коммуны мельнику, с его «хлебным рылом», хорошего нечего было ждать. Неспроста ж новинского трутня подпоясали широким ремнем, прицепив к нему кобуру с ржавой «пукалкой». И у Арси было рыльце в пушку: ведь наган выдали ему не для пьяного глумления над селянами. Да и раздуть это «кадило» перед ними, как он решил тогда, было ему явно не с руки. Засмеют. С «пукалкой» и испугался, мол, Грача-Отченаша с дрыном. Симу же Грачеву и вовсе было ни к чему заваривать кашу: ну, было и было. Если о чем и сожалел мужик, то только о том, что не задел, хотя бы вскользь, хребтины новинского оборотня...

Сельчане к Арсиному возвышению отнеслись безо всякой радости. Мало того, трехзвенное слово его почитания «предкомбед» донельзя укоротили и как довесок заглазно добавляли к его имени Арся-Беда или просто говорили – Беда. Он же в новой роли повел себя перед односельчанами и вовсе заносчиво, что не осталось в деревне непримеченным.

– Только погляди, как наш Беда-то в гордыне задрал свой унюхчивый на чужое пятак-от! Поди, теперича и шестом не достать, – насмешливо судачили новинские кумушки у колодцев.

Арся же Беда, вышагивая по деревенской улице на своих коротких толстопятых ногах, воровато зыркал быстрыми хорьковыми глазами. Как только приметит хозяина, ладившего прохуdivшуюся половицу в крыльце или красившего облупившиеся наличники на окнах, тут же с придыхом рыкнет:

– Пошто пузо-то свое кулацкое выкатываешь напоказ? На Соловки захотел, контра?

Революции Великое Равенство трудового человека новинский предкомбед воспринял как обязательное равнение всех и вся на него, Арсю Тараканова. С такой вот меркой он подошел и к мельнику со столяром во время раскулачивания их на зачин коллективизации. Не посмотрел, что мельник в будние дни ходил в домотканых портах. Но как ни крути, а «рыло»-то у него все-таки хлебное: на то он и мельником был, чтобы работать от души и есть вволю. Да и его широкогрудый избуро-красный жеребец Буян бросался в глаза своей гладкостью – тоже вволю хрумкал овес. А вот этого-то Арся-Беда, войдя уже в раж властолюбия и низкого мщения за свою нескладную стрюцкую долю, никак не мог простить ни человеку, ни лошади.

– Под ноготь таких надоть – и весь сказ! – изголялся перед селянами новинский предкомбед-уполномоченный в догон отъезжающей на извозной санной подводе семье мельника.

Так, без сострадания, был выдворен из родной деревни новинский мельник, а осиротевшая мельница на речке Протока в первую же колхозную весну вспотык завалилась на донное камень. И вот тогда-то на размытой запруде первый председатель новинского колхоза Грач-Отченаш горько изрек:

– Обченаш, знамо, что мельница без мельника не мелет, а вот, поди ж ты, не заступились за трудягу. – И, помолчав, горестно добавил: – Вот уж воистину в народе говорится: много хлеба – заводи свиней, много денег – строй мельницу. У нас же вышло все шиворот-навыворот. В кармане – вошь на аркане, а мы начали с того, что стали крушить жернова.

В Новинах промысел молоть зерно, как и в далекую старину, от мужиков опять перешел к бабам. От одних отняли радость (мужик никогда не тяготился работой на мельнице: тут и разговоры по душам и небольшая выпивка с песнями), к другим, к бабам, пришло настоящее бедствие. Тот, кто не молот вручную, тот и не знает, что это такое. Надо одной рукой, держась за отполированный ладонями вересковый мелен, ворочать вкруговую тяжелый каменный жернов, а другой все время успевать подсыпать в жерло-вечю жернова горсть за горстью сухие зерна. И вот повернет бедная баба лукошко жита – лоб мокрый, в глазах – ноченька темная. Тут и хлеба не захочешь.

Да еще и молоть-то надо было исхитряться украдкой. Не дай бог, если Арся-Беда слышит, как у кого-то на повети кычет улетающим журавлем жерновой мелен, курлыкая в проушине деревянной полицы. Аж весь затрясется от ярости:

– Ужо я щас покажу, как воскрешать частную собственность!

И вот, весь ощерившись, он разъяренно врывается на подворье злоумышленника, хватая подвернувшийся под руку хозяйский колун и опрометью бежит дальше на повети, где в темном закутке, у слухового оконца, стоят на деревянной подставе дедовские жернова. С ходу замахивается и со всего плеча – хряп колуном по верхнему жернову, а потом, раз за разом, еще бухает и по исподнему. И камни-кормильцы, служившие людям, может, не один век, повержены в прах: ни нам и ни вам!

Обомлевшая хозяйка, пятясь в угол, крестится как от привидевшегося оборотня, шепча заплетающимся языком:

– Господи Иисусе, образуми разорителя...

К первому колхозному лету новоявленный ретивый реформатор до того замордовал деревню с помолом, что хозяйки стали ставить на стол вместо хлеба горшки с распаренным зерном. И в Новинах уже больше не сказывали «пора обедать», а говорили «пора клевать».

Новинские мужики чесали в затылках и никак не могли взять себе в толк: как это могло случиться, что они, вроде бы и не чурбаны трухлявые и вовсе не безмозглые, принявшие революцию как освобождение от «вековой тьмы», сами позволили сесть себе на холку ничемному мужичонке. А колхозный счетовод Иван Ларионович Анашкин, бывший церковный староста Новинского прихода, знай каркал:

– Это только цветики – ягодки-то все еще впереди...

Но вернемся в то зимнее утро, когда учиненный Арсей-Бедой дикий шабаш на мельнице, как разбушевавшийся пожар, перекинулся на подворье деревенского столяра. Арсины сподручные, желторотая новинская «косомолия», не подоспев вовремя родиться, чтобы стать краснорозовыми богатырями Революции, старались друг перед дружкой поскорее отряхнуться от навоза и наверстать упущенное: крушили все, что можно сокрушить. И они «струмент аглицкой стали», которым мастер дорожил пуще своей жизни, пустили на шарап: поштучно расхватали – кому что досталось.

Выстуженный и перевернутый вверх дном «храм инструментов» Ионыча тут же определили под водогрейку для обобщественного крестьянского скота, для чего Арся-Беда собственноручно забил большими гвоздями дверь из сеней. А его хваткие архаровцы по его указке тут же прорубили новый дверной проем в боковой стене прямо на улицу (потом долго не дойдут ни у кого руки, чтобы поставить косяки и навесить дверь). И этот кособокий, будто выгрызенный проем селяне окрестят как нельзя точнее: «Арсина прореха в новую жисть».

Из подклети жилой избы свезли в холодный амбар и ульи – гордость мастера. И как только новинские сорвиголовы прознали про то, что в ульях есть мед для зимнего прокорма пчелиных семей, тут же начисто разорили их, благо в эту пору пчелы были некусачие, полуснулые. Вечером пили чай с медом и похвалялись перед домашними дармовщиной:

– Во, какая настала жисть в Новинах, меду вволю – ешь не хочу!

А когда деревня отошла ко сну, закоперщик новой «жисти» Арся-Беда, не будь дураком, проявил хозяйскую сметку. Среди ночи он не поленился запрячь мельникова жеребца Буяна (на бывшей-то своей мослатой и лягливой кобыле, по деревенской насмехательской кличке Зануда, уже не хотелось ездить), подогнал дровни с широкими санными креслинами к разграбленной столярной Ионыча и через вновь прорубленный проем погрузил в них весь «матерьял» мастера, высохший до колокольного звона. Привез его к себе на заулочок и не утерпел, чтобы не постучать в раму жене:

– Марья, проснись да поглядь, каких дров звонких тебе привез!

Так в Новинах в два приема было покончено с «частной собственностью». Исконные, жизненно необходимые промыслы были порушены, а селянских мастеров – шерстобитов, кузнецов, мельника выслали из деревни, как прокаженную тунядь.

Со столяром же планида обошлась милостивее. Хотя завистники и ободрали его как липку, однако оставили в деревне, объявив изгоем общества, «лишенцем-обложенцем». По этому черному вердикту столяр из вольных селянских мастеровых попал в полную зависимость от местных властей. Как бесправный крепостной, он должен был безропотно сносить все выпавшие на его долю лишения. Высочайшей руки мастер по дереву, уважаемый округой человек стал по принуждению валить лес на самых дальних делянках. И почти задарма. Как-то, ропча, он признался перед селянами:

– Ломлю, как лошадь, – за овес, что заработал за день, то и съел разом.

И чуть было не поплатился за свое откровение, как только оно дошло до оттопыренного Арсиного уха.

– Што, к своим дружкам-кузнецам, шерстобитам и мельнику просишься, контра? – с придыхом рыкнул Беда на мастера и пригрозил ему: – Гляди у меня... быстро загремишь туда, где Макар коров не пас!

Создавая колхоз, Арся-Беда метил в председатели. Как же, будучи предкомом Новино-Выселковской коммуны, уже обвыкся ходить в начальниках и помыкать себе подобными, поэтому старался, как для себя. А на деле вышло, как для дяди: новинские, не сговариваясь, дали дружный отлуп ретивому экспроприатору и выбрали председателем рассудительного и молодого мужика Сима Пантелеевича Грачева. Арся, понятное дело, кровно разобиделся. Мало того, даже не пожелал вступить в им же созданный колхоз, а в его произношении – «кольхоз», хотя лежебоке и предлагали посильный ему пост ночного сторожа на конюшне.

Пошел уже второй год со дня создания колхозов, а Арся Тараканов по-прежнему не пахал, не сеял. Это словно про него исстари в народе говорится: рыбка да грибки – потеряешь красные деньки (река и лес стали приложением его сил себе на потребу). В то время как колхозников сурово карали за опоздание вовремя прибыть к пожарному билу (утром оно созывало людей на работу), за прогулы даже по уважительной причине (например, хозяйка затеяла большую стирку – бучить белье, или хозяин собрался в лес за дровами), Арся же целыми днями бил баклуши и жил в ладу с властями, как с местными, так и с районными. Он всегда был под рукой у начальства как общественный распространитель всевозможных повесток, обязывающих селян являться куда-либо под расписку. Он же был в Новинах и как осведомитель-бессребренник, и как понятой-доброволец при арестах людей. Без него не обходились и уполномоченные по вербовке переселенцев, будущих «перекати-поле», на которых он давал устные характеристики. О работающем, совестливом мужике говорил: подкулачник, контра; о верующем – кадило недобитое; о тунеядце, таком, как сам, – наш, мол, брат, советский! Ему было доверено разносить по дворам и налоговые «соцобязательства» на сдачу колхозниками сельхозпродуктов «за так» – картошки полтонны с надбавкой на будущую гниль; молока триста литров с накидкой на жирность, которую обязательно будет занижать пройдошистая колхозная приемщица; мяса два с половиной пуда, или хорошего барана; яиц две сотни штук; шерсти два с половиной фунта, то есть всего лишь один килограмм; две первично обработанные, пересыпанные солью, шкуры, про которые однопороденцы еще шутовали промежду собой, с глазу на глаз: одну, хозяин, сдери, мол, с себя, а другую – с женки своей. Такой оброчной податью облагались все частные подворья, независимо от того, имел ли хозяин у себя в натуре, кроме кошки и собаки, другую какую-то животину, которую можно было бы доить, стричь, забить на мясо и содрать шкуру. Купи, где знаешь, и с «честью» (и никак по-иному!) рассчитайся с родным государством, которое и спустило милостиво к своим селянским кормильцам такую «первосвященную заповедь». Ну, а кто оставался в недоимщиках, к нему приходил опять-таки Арся-Беда с понятыми, чтобы очень преспокойно описать самовар.

Новинский Беда так вошел в свою роль посредника между властью и народом, что ему самому начинало казаться: как бы обходились Советы, не будь на свете его, Арсентия Тараканова?

На одном из сельских сходов в Новинах, на излете первой колхозной осени, был обнародован сельсоветский декрет далеко не местного значения, так как об этом было сообщено областной газетой в заметке «Новинская новь»:

«...Первое. Чубарого жеребенка от бывшей поповской кобылы Сорока (и тут же приметливый автор сделал ремарку: «Ныне – Коммунарка, она же в местном просторечье и Пегая Попадья») наречь Ударником и определить в производители (и снова авторское замечание, исполненное удовлетворения: «Новинским мужикам не терпится поскорее вывести особую колхозную породу лошадей».).

Второе. Уцелевший от пожара в Новино-Выселках пятистенок с мезонином бывшего кулака-кузнеца Ивана Раскина перевезти в деревню и поставить на Певчем кряжу по-над рекой под избу-читальню...».

Изва-читальня – затея благая, поэтому новинские мужики взялись за дело рьяно. И вот в одно из воскресений, после копки картошки на огородах, в Новинах была объявлена осенняя толока. Мужики с утра пораньше скопом двинулись в Заречье, где топорами пролокали римской цифирью звонкие венцы разграбленной вдрыз домины Ивана-Кузнеца и к вечеру раскатали ее в штабеля.

А как только встала река от морозов, по первому же зимнику перевезли бревна к себе в деревню на Певчий кряж. В доколхозное время селяне любили собираться здесь по воскресеньям, и на вечерней заре размашистыми волнами укатывались отсюда раздольные многоголовые песни, как бы сторая в пылающем закате.

– Да, место тут, обченаш, красное! – сказал довольный председатель Сим Грач-Отченаш, поднявшийся по вздыму с реки на кряж на зимних ролпусках с последней кладью бревен.

– Здесь только, маткин берег – батькин край, и стоять очагу культуры! – ладно вставил в масть новинскому председателю колхозный конюх Матвей Сидоркин.

Но довершить задуманное дело помешала спущенная сверху на деревню лесозаготовительная повинность под названием «твердое задание», от которой никому не было отступа и спуску. Новинских мужиков без разбору, огуречным счетом, всех как бы зачислили в лишенцы-обложенцы, поэтому возведение избы-читальни отложили до весны. Не до того было. Страна все больше и больше втягивалась в индустриализацию, требуя от деревни безропотного жертвоприношения.

И лишь после этой долгой зимней лесной кары вспомнили в Новинах об «очаге культуры». Уже перед самой посевной новинские мужики с наточенными топорами собрались на воскресную толоку на Певчем кряжу. Не мешкая сделали разметку под избу-читальню, потом подошли к кладням, смотрят – и глазам своим не верят: все колобашки, вяжущие углы на концах бревен, были сколоты кем-то. Не видно было и бревешек от межоконных простенков.

– Да ведь это ж, обченаш, явное вредительство! – вознегодовал новинский председатель, чем вызвал дружный хохот у односельчан.

– Ай-да, Арся! Ай-да, Беда! – покатывались новинские мужики, дивясь проворству прохиндея.

– Это надо ж было дотумкаться до такого зловердства?!

И все стали сожалеть, что «не дотумкались» сами заранее заложить в бревешки простенков потаенные пороховые заряды.

И вот покурили новинские мужики на кладневых бревнах, с горечью поплевались себе в ноги, да с тем и разошлись, обескураженные донельзя, по домам. И только один столяр Ионыч потопапал не в свой край.

Он остановился у низкого подокония Арсиной избы и нетерпеливо постучал своим ореховым костыльком по никогда не крашенной раме. На дребезжащий стук в треснутых и мутных стеклах переплета замаячила, как колдовское видение во ржавом бочаге под еловым выворотном, огненно-багряная образина хозяина, который недружелюбно спросил:

– Чего тебе надоть, контра?

– Рушитель ты земли русской, вот ты кто, Арся! – гневно выпалил столяр-лишенец. – Не страшишься, что по тебе, волкодлак несчастный, плачет осиноый кол... Будь ты неладен, мянда ты болотная! – И бросив презрительный взгляд на Арсину избу, Ионыч развернулся и пошел прочь.

Сейчас новинский столяр, лишенец-обложенец, готов был пойти и на плаху за святую правду!

Он шел по улице, и встречные односельчане снимали перед ним шапки, как верующие перед архиереем.

Да он, Ионыч, и был для новинских селян тем заглавным корнем, на котором стоит жизнь. Сломается у хозяйки, например, коромысло, расколется корыто, рассыплется кадушка для солений-мочений – к кому бежать заказывать так необходимый в хозяйстве обиход? Ясное дело, к своему Мастаку! Еще не явился на свет младенец, а заботливые родители уже загодя заказывают своему столяру колыбель-качалку. Да чтоб непременно была непохожей на соседскую.

А на чем бы новинский мужик привез зимой дрова из леса, а летом снял урожай с поля, не умея Ионыч делать сани и телеги?

Или взять ту же дугу для упряги лошади. Охлупень-то из кривого корня, как выйдет, всяк сладит. А ты согни выездную с росписями, «мечту цыгана», чтобы тот позарился украсть ее с заулка, дугу-радугу, к которой было бы не зазорно приладить свадебный бубенец!

Да что там свадебная дуга-радуга! Бери ниже – простую кухонную табуретку. Изделие, прямо скажем, немудрящее. Это тебе не улей для пчел, не тележное колесо... Ан нет, далеко не каждый возьмется смастерить ее. А он, новинский столяр, столько их произвел на своем веку, что ни в какой один парный воз не укладешь, не увяжешь. И любую кидай хоть с колокольни – не хрястнет ни в одном шипу, как говаривали новинские не без гордости за своего мастера. И каждый народившийся житель деревни сделал свой первый шажок, а потом и потопал в большую жизнь от его, Ионычевой, простой табуретки. Вот потому-то новинские и снимали шапку перед своим Мастаком, как верующие перед архиереем. Что из того, что он был теперь в опале?!

Как вошел к себе в дом, после свидания с Арсей-Бедой, столяр не помнил. У крыльца перед ним вдруг начала опруживаться земля, он сделал несколько шагов и брякнулся навзничь. Сыновья внесли его в горницу почти бездыханного.

Очнулся столяр уже в кровати, в которой потом провалялся всю весну. Жена Груня в те дни печаловалась соседкам:

– Видно, не жилец наш мастер. Не знаю, дотянет ли до своих именин?

Однажды под вечер, накануне Федора летнего, Ионыча увидели с его ореховым костыльком на Певчем кряжу. Выбрел глянуть на реку. Исхудал и выбелел, как лунь, старик стариком стал.

Бревен с порушенными угловыми концами уже не было на кряжу. Не стояла тут и изба-читальня. После того как обнаружилось Арсино зловердство, разваленный пятистеноч новино-выселковского новоземельца сразу сделался ничейным. Бревнышко по бревнышку – мало ли у каждого разных прорех в хозяйстве – начисто растащили все кладни. И от именитого Ивана-Кузнеца не осталось в Новинах ну никакой-то памяти, будто такой человек вовсе и не жил на свете.

На кряжу, у вздыма, лежала в разбросе лишь гвоздатая опалубка из-под drankи.

– Растащили б и опалубку, да кому, обченаш, охота тупить пилу об гвоздь. Дороже самому обойдется на напильниках точить пилу, – с горечью пояснил случившийся здесь предколхоза Сим Грач-Отченаш. Шел мимо, увидел на кряжу соседа и завернул к нему, чтобы справиться о здоровье.

– Вели хоть сжечь это хламье, чтобы не мозолило глаз, – посоветовал столяр. – А то ведь, надо думать, обуркаетесь да и почнете ладить домовины для жмуриков. Ведь другого-то матерьяла у вас, хозяев туровых, нету.

– Верно, Ионыч, говоришь, нету у нас другого матерьяла, нету, обченаш! – сознался председатель, с надсадом крякнув.

– А коль так, выходит, Сим Палыч, при ваших новых порядках не только жить – и умереть страшно.

– Умри, Ионыч, метче не скажешь! Опять, обченаш, попал в самое яблочко, – согласился председатель и подумал: «Ох, как тяжко тоскует мастер по своему делу».

А Ионыч, смело вперившись в усталое лицо председателя укорительным взглядом глубоко запавших глаз, продолжал выговаривать:

– Мне теперь, Палыч, чувствую, не много осталось гостевать на этом свете. Потому и говорить все можно. Да и переиначить меня никому уж не в мочь. Это равно как бы хмель заставить виться противу солнца... И вот скажу тебе, что думаю, как сусед суседу. Попомни мои слова, ничего путного не выйдет из вашей общественной колготни. Не с того конца взялись за переделку жизни. Надо б с добрых деяний да по-хорошему, а вы поступили по-басурмански – с разору. Вот побаламутите этак, помыкаетесь, разведете страшенную татьбу, а затем приметесь сводить со света друг дружку, как пауки, запертые в банку. Да тем и сыты будете! – При этих словах Ионыч пристукнул костыльком. – А ежели и не случится этого, разбежитесь по чужим краям, куда гляделки глядят.

– Так уже и побежали люди-то из деревни, Ионыч, – вздохнул председатель. – Как от чумы побежали, говорю, люди из деревни. И похозяйствовали-то по-новому с гулькин нос, а уже сколько мужиков лишились коров за недоимки по сельхозобязательствам. Да это ж, обченаш, все та же проклятая продразверстка на манер оброчной барщины! А у того, кто свел за рога в общее стадо последнюю корову на зачин колхоза и не имеет денег, чтобы прикупить на стороне этакую прорву всякой всячины и сдать потом по соцобязательству-оброку государству за здорово живешь, – опишут самовар. И русское «чудо» – тю-тю! И изба осиротела. Потом тот самовар Арся-Беда поставит себе в темные сени, а из них он перекочует за «чекушку» в телегу проезему тряпичнику. Вот и вся недолга селянской недоимки крестьянина-бескоровника. Вот и побежали люди из деревни, как говоришь, куда гляделки глядят.

– А что прикажешь, председатель, делать в деревне мужику-бескоровнику, тем паче бессамоварнику? Остается одно: схватиться за голову и скорее завербоваться куда-нибудь на стройку. В новом-то году опять будут трясти за недоимку. Потрясут-потрясут, да и упекут куда-нибудь не по своей волюшке.

– Все может быть, Ионыч, все может быть, обченаш, и упекут!

Два соседа с пониманием вздохнули как бы одной грудью и разошлись.

Вечером того же дня Сим Грач-Отченаш пошел по дворам, требуя у сельчан своей председательской властью вернуть столяру его разграбленное добро.

– Негоже, чтоб разобщенный струмент ржавел под чужими кониками, а мастер, обченаш, умер бы от тоски по делу.

Не все, разумеется, удалось собрать председателю, многое из инструментов селяне уже растеряли или загубили, а затем и выбросили за ненадобностью на задворки.

Столяр, глянув на свой «струмент аглицкий стали», разложенный на лавке председателем, аж простонал от боли:

– Это надо ж было так иззубрить! Как только ни у кого руки не отсохли от такой бесшабашной работы?

– Да, Ионыч, и никто, обченаш, не сдох от стыдобы, – переминаясь с ноги на ногу, повинился председатель и поспешил на улицу, хватая воздух открытым ртом, как задохнувшийся налим в непроточном бочаге.

Столяр, наверное, так и не притронулся бы к своему иззубренному «струменту», не направь его на точиле старший сын Гавря. Да и нечаянная мысль, наехавшая на него груженой телегой при разговоре с председателем на Певчем крыжу, видно, не давала покоя. «Ей-ей, положат в гвоздатую домовину», – страшал он себя.

И вот по мере выздоровления в Ионыче проходило и внутреннее отчуждение к своему ремеслу. И он задумал смастерить себе гроб и крест, чтобы не быть никому обузой при своей кончине. Благо и из «матерьяла» кое-что осталось на дворовых поветях, куда не посмел или

не догадался сунуться Арся-Беда. Теперь каждое утро, как только домашние расходились по своим делам (сыновья плотничать – строили конюшню, старшая невестка и жена Груня – на прополку колхозного огорода), столяр взбирался к себе на чердак.

– На потолок слазая, доча, – предупредил он лишь невестку, жену младшего сына. – Помаленьку матерьял буду готовить, может, потом надумаю поделатъ что-то, – схитрил он перед молодухой на сносях, чтобы ненароком не напугать ее своим замыслом.

В один из тех дней мимо дома столяра проходила бывшая вековуха, набожная Феня, которую в деревне теперь, после ее неожиданных родов заглазно звали тетушкой Копейкой. И вот, заслышав лившиеся с чердака столяра чистые без задору всплески направленного фуганка, она аж вся просветлела: узнала руку мастера.

– Слате осподи, оклемался-таки наш Ионыч! – Феня перекрестилась и засемила легкой походкой вечной девы в правление колхоза, чтобы поделиться радостью со своим духовным братом, бывшим церковным старостой Иваном Ларионовичем Анашкиным, ныне – колхозным счетоводом.

А в это время в правлении бил баклуши Арся-Беда: играл в шашки со счетоводом, окуривая его едучим самосадам.

Иван Ларионович, отмахиваясь ладонями от дьявольского фимиама, на правах наставника (это он научил Арсю игре в шашки себе на потеху) смело трунил над ним:

– Эхе-хе-хе, Арся, Арся... Вот вы все, как вас величают, «проклятьем заклеянные», пыжитесь, то да се, а на деле-то только и умеете зорить жизнь. Норовите сразу в дамки, а попадаете в нужник. – И известный новинский книгочей не утерпел, чтобы не козырнуть своей образованностью: – Лесков-то правильно писал: мол, Русь-то хоть и давно окрещена, но она еще не просвещена.

– Контра недобитая твой Лесков! – отмахнулся Арся, нещадно теребя растопыренной пятерней свою огненно-багряную волосню на голове и колючую щетину на широких скулах.

Иван Ларионович отер ладонью жиденькие, изжелтевшие волосенки, густо напомаженные гарным маслом, и той же сальной рукой, подобно коту, намывающему гостей, провел по своему и без того лоснившемуся гладкому лицу. И дальше продолжал в том же елейно-шутливом тоне, явно намереваясь устроить подвох своему сопернику как на шашечной доске, так и в разговоре:

– Эхе-хе-хе... подумать только, почти тысячу лет наша православная церковь ухлопала на то, чтобы ты, Арся, стал человеком. А ведь ты по своим деяниям от этого, ох, далече!

– Дак, кто жи я, по-твоему, кадило ты недобитое? – незлобливо буркнул Арся, обдумывая очередной ход.

– Ты лучше спроси не «кто я такой?», а «откуда я такой взялся?» – поправил счетовод, пырская мелким смешочком.

– А мы, Иван Ларионович, да будет тебе известно, из тех же ворот, откуда вышел весь народ! – шало парировал бездельник. – А то ишь навывдумывали твои попы, наподобие нашего расстриги – батюшки Ксенофонта, кубыть мы все изначала были настроганы из Адамоваго ребра, а сам Адам слеплен из глины.

– Так, Арся, так, – снисходительно согласился Иван Ларионович. – Все верно, Арся! Только такие, как ты, и пошли живьем от нее... волосатой. – И он резко сделал ход шашкой. – Ешь да садись в «нужник», облезьяна ты нечесаная!

Иван Ларионович, оставляя соперника в глубоком размышлении над клеточной доской, поднялся с табуретки и пошел к распахнутому окну, за которым разгорался летний день. Глянул на деревенскую улицу, и ему вдруг вспомнилось прошлое лето, когда отец Ксенофонт брел по ней, воротясь из дальних странствий.

* * *

... После сокрушения Новино-Выселковского ТОЗа, раскулачивания мельника и столяра, пала в Новинах и церковь Николы-чудотворца на-Иван-пороге, с которой сбросили колокола, а бесценные ее иконы начисто сожгли в подгорье у реки, как хлам.

Доморощенные, еще желторотые «иконоборцы», которыми коноводил уполномоченный Арся-Беда, потом перевернули вверх дном и поповский дом. Искали серебро с золотишком, а удовлетворились медяками и кухонной утварью – чугунами и горшками да чупизником с ложками. И этому были рады, всё не с пустыми руками идти домой. А заодно свели с батюшкиного подворья и его жеребую кобылу Сороку для разжития колхоза.

Матушка всю ночь в слезах простояла на коленях при зажженной лампаде перед иконой Тихвинской богородицы, а под утро, не раздеваясь, легла в кровать и больше не проснулась.

В своей зауспокойной молитве во время свершения последнего христианского обряда новинский батюшка сказал о своей жене:

– Тихо отошла любящая душа... Земля тебе пухом, великомученица Анастасия.

Придя с погоста к себе в дом, отец Ксенофонт взял подвернувшиеся под руку овечьи ножни и спокойно отмахнул свою никудышную козлиную бороду.

– Аминь, – сказал новинский расстрига-батюшка и вышел из собственного дома, даже не заперев за собой дверь. А дойдя до калитки, воротился назад, разулся у порога, аккуратно поставил на ступеньки крыльца сапоги – авось, и сгодятся кому-то. И пошел по земле босиком. В руках у него был, будто архиерейский посох с жезлом, перевернутый сковородник.

Где обретался, по каким городам и весям бродил новинский батюшка, в деревне никто не ведал. Прошла весна, а о нем никаких вестей не было слышно. За сенокосной колхозной запаркой новинские и вовсе забыли о своем духовном пастухе. Богомольные старушки уже внесли имя батюшки в свои поминальники и, молясь об упокоении его души, говорили:

– Хороший был у нас батюшка: наставлял крещеных уму-разуму, увещал заблудших в мирских пагубах...

И вдруг накануне престольного Спаса отец Ксенофонт – жив-здоров – объявился в деревне со сковородником в руке. И опять со своей, так знакомой никудышной бороденкой, только, правда, как бы припорошенной мукой. Словно бы новинский батюшка все это время провел в мирских трудах на мельнице.

– Постарел-то как, святой отец, – жалеючи зашласть тетушка Копейка, которая первой встретила его на новинской улице.

– Старость – венец мудрости, раба божья Фекла, – кротко ответил батюшка.

И вот, прежде чем поселиться у себя в церковной сторожке, разоренной и загаженной (добротный его дом, построенный мирянами прихода, был уже разобран и порезан в соседнюю деревню под сельсовет), отец Ксенофонт прямо с дороги – усталым и запыленным – заявился в правление колхоза.

– Здравствуй, сын мой, раб божий Сим Палыч, – низко кланяясь, распевно поздоровался с председателем новинский батюшка, облаченный в мирское отрепье. – Вот вернулся в родные палестины блудный сын... Долго блуждал я в безутешных молитвах своих во кромешней тьме, которая обширно разлилась на всей нашей необъятной земле.

И отец Ксенофонт как мандат своей невинности перед новой властью выудил из-за пазухи какой-то несусветной кофты затертую газету «Правду» со статьей Сталина «Головокружение от успехов».

– В сей грамоте, сын мой, сам Вождь Вождей признал: на местах в суетности совершена, мол, великая тщета противу своего народа.

Новинский председатель читал эту статью. И не без пристрастия. На многие вопросы утверждения новой жизни искал ответы и не нашел их. А так как о разоренных церквях в ней упоминалось лишь мимоходом, то и священнослужителя принял на первых порах сдержанно. Однако сознавая, что немало наломали дров во время коллективизации, он вскоре помягчел и разговорился:

– Да, отче, вот ушел ты из деревни, и у нас как-то сразу угасла радость при рождении младенцев. Без крестин-то на них теперь смотрим уже не как на своих кормильцев при старости, а как на сегодняшние лишние рты за столом. Как бы уже и не рады стали продолжению рода своего. Вот ведь какая, обченаш, нескладаца вышла.

– Согласен, сын мой, мирскими сельсоветскими записями о рождении человека мы лишили дитятей духовных наставников, а их родителей – духовных сестер и братьев. Ведь слово крестных для дитяти бывает дороже родительских нравоучений, – с пониманием отозвался новинский батюшка.

– Да оно, отче, и по жизни-то так, все по уму было! Ведь и родителям без кумы и кума, которых сами выбираем, как говоришь, в духовные сестры и братаны себе, чтобы сообща наставлять на путь истинный своих неслухов, тоже жить тошно. К тому ж и крестным перед своими крестниками надо, обченаш, всегда держать себя в чести.

– В этом-то, Сим Палыч, и есть вся мудрость таинства крещения человека. Это и есть тот вечный венец духовной жизни человека, в котором и не поймешь, кто кого учит по кругу: то ли курица яйцо, то ли яйцо курицу.

– Об этом, отче, я и веду разговор. Вот ведь ничего нового и поучительного не дали людям, а на то, что создано самой жизнью веками, ввели великомножительные запреты да положили заказы. – От негодования председатель так ерзанул на табурете, что тот с надсадом хрястнул под ним. – Одно не заказано: бестолковая работа, которая, обченаш, становится людям в маяту, петухом в горле кричит!

– Сын мой, к сказанному надо присовокупить и кромешное словоблудие. Живем, аки сучьи детеныши, в сплошном лае... А взять нашу вселенскую татьбу. Ведь допущенное раскулачивание тех, кто в поте лица добывал свой хлеб насущный, это не что иное, как узаконенный разбой среди бела дня! За такое распутство, ох, зело спросится на том свете в Судный день! – От волнения у отца Ксенофонта нездорово зарозовели щеки, а на большом с лиловым отливом утином носе выступили кровяные прожилки.

– Насчет «того света», отче, не взыщи строго – не верую я в загробную жизнь... Хотя, – председатель развел руками, – хотя, ежели хорошо задуматься: жил-жил человек и в один прекрасный день – хлоп! – и понесли вперед ногами. Выходит, что на этом и шабаш для него. Нет, тут, думаешь, что-то не так! Этак можно и извериться в себе, ежели заранее знаешь, что в конце концов изойдешь в назем. А раз так, спрашивается, для чего тогда жил-был на свете? Стоило ли, мол, маяться годы? К чему тогда страх, стыд, совесть, жалость к ближнему?

– Сия тайна, сын мой, не за семью печатями, – похвально отозвался отец Ксенофонт, растроганный откровенным разговором. – Плоть человеческая полнится духом, то есть верой в бесконечность нашего бытия... А твое бдение, «есть ли загробная жизнь или нет?» – это и есть познание сей тайны.

Председатель же продолжал гнуть свое:

– Скорее всего, отче, я все-таки Фома-неверующий, ежели говорить о Боге. Хотя напрочь и не отрицаю его. Тем-то и обиднее для меня, что многое не приемлю из того, что делается сейчас в нашей жизни. Вот повсеместно обезглавливаем купола храмов, а крест-то целовать нас все-таки заставят! Только вопрос – какой? А целовать будем, и к этому, обченаш, катимся... А то, что ты вернулся в родные палестины, живи, отче, места под солнцем всем тут хватит. Завтра велю освободить церковь от склада. – И, печалясь содеянным, Сим Палыч, сказал покаянно: – Надо ж было дожить до такого бесчестия: крыши амбаров раскрываем на прокорм

скотине, а храмы занимаем под кладовые! Так что обряжай церковь по силе возможности, да и старики подмогут, и приступай к своей службе. Понятное дело, с крестинами и венчаниями пока повременим, может, что еще и прояснится. Да и не в моей власти, обченаш, давать на это разрешение. К тому ж и крестить пока не в чем. Купель-то Арся уже давно продал за «чекушку» проезему тряпичнику. И где теперь эту утварь сыщешь, ума не приложу. Ведь не станешь же купать младенцев в корыте, как поросят! А обряды править над усопшими – вот как надо, отче! – При этих словах председатель резанул ребром ладони себе по кадыку. – Негоже, чтобы человеку, уходящему из жизни, не полагалась заупокойная молитва. Дожились до неслыханного конфуза: умерших уважаемых однодеревенцев, сродственников своих хороним безо всякого обряда. Закапываем молчком, как околешую скотину.

– Да, да, воистину глаголишь, сын мой, – тряся головой, сокрушался отец Ксенофонт. – Девять с лишним веков наша пресветлая церковь творила себя во благо крещеных на Руси. И вот вся эта кладезь духа человеческого опрокинута к ногам зачумленной опрични... Но не будем велико сумняшеся! – возвысил он голос. – Наша церковь на своем-то веку и не такие видывала гонения, выстоит и на этот раз. Думаю, это аки испытание, ниспосланное нам свыше, для укрошения гордыни и укрепления духа нашего.

Сим Палыч как бы ставя точку затянувшейся столь нежданной беседе, поднялся на ноги и совсем по-приятельски сказал:

– А теперь, отче, не откажи отобедать у меня.

– Сын мой, – поперхнулся отец Ксенофонт. – Хотя я и обвык за время моего обретения по чужим краям к мирской милостыне, но изволь отказаться от искушения быть гостем в доме твоём, ибо это может навести непредсказуемые подозрения к твоей персоне.

– Выходит, волков бояться и в лес не ходить? – рассмеялся председатель. – Как бы не так! К тому ж и вовсе ты мне не чужой, отче. Хотя бы только потому, что крестил меня грешного, и именем нарек православным. А потом и первой грамоте в приходской школе вразумил. И крест целовали с Катериной на верность из твоих рук. Дак какой же ты чужой мне, отче? К тому ж, ты у нас был труждающим батюшкой: и в будние дни ломил на пашне наравне с мужиками. Когда надо и скотину не чурался лечить от пошавы. Да ведь и церковного сана по сути тебя не лишали.

– Благодарствую, сын мой, раб божий Сим Палыч, – Голос новинского батюшки дрогнул, он старчески всхлипнул и громко высморкался в серую тряпицу. – Снял с моей души тяжкий грех: думал, уже все спятили с ума в своем вселенском ослеплении. Буду молиться за отпущение грехов всех заблудших нашей пресветлой церкви, которая во все века молилась за процветание государства и за благополучие его подданных... А ведь может случиться такое: избудет из жизни народа церковь и державе скажут «аминь»...

Обживать свой поруганный храм новинский батюшка с самыми стойкими верующими начали с того, что выкатили из него бочки с тележным дегтем, вынесли хомуты, веревки, вязанки подков и ящики с гвоздями. И тоже, как и председатель, с запозданием ужаснулись содеянным:

– Неужто для такого добра не нашлось другого сарая, кроме дома Божьего? Ох, и басурманы ж мы! Басурманы...

Потом вставили выбитые стекла, вымыли затоптанные полы, а вот святить церковь отложили.

– Праздник собирания плодов своих оставим до Покрова, – сказал батюшка и в тот же день снова пропал из Новин.

А на другое утро, по потемкам, ушли из деревни еще и две богомолки – тетушка Копейка и бабка Пея. За плечами у них были берестяные кошеля, в которых стояли по две четвертные бутылки. Можно было подумать, что старухи собрались за керосином куда-то в дальнее село. На самом же деле их путь лежал через дремучие леса и топкие болота в бывший Петровский

мачтовый заказник. На чудотворные целебные ключища, на Иордань, за святой водой, где, как утверждали страждущие паломники, если долго вглядываться в бьющий родник, вождленному взору являлся лик Спасителя.

Отец Ксенофонт вернулся в деревню через неделю. И не один: в компании с босяком-богомазом, который в наступившие безбожные времена оказался вовсе безработным. И вот его-то новинский батюшка и подрядил написать несколько икон над алтарем и «Страшный суд» над порталом церковных врат. За проделанную работу он пообещал богомазу свое заветное обручальное кольцо. Это был весь его наличный капитал, которым он мог распорядиться по своему усмотрению и который решил пожертвовать на возрождение поруганной церкви.

Богомаза по имени Лаврентий взяла к себе на прокорм вековуха Феня. Намереваясь заказать оклады для икон, Лаврентий по подсказке святого отца Ксенофота наведлся к Ионычу. Когда он присмотрелся к обличию столяра, то нашел, что лучшей природы лика святого угодника Николы-чудотворца для картины над порталом церковных врат ему не сыскать.

Дабы вразумить селян, впавших в безбожество, опять же по наущению батюшки был найден и прототип великого грешника для «Страшного суда». Ради этого отец Ксенофонт даже ссудил выпивоху-богомаза, дав ему на бутылку водки, чтоб тот напросился к Арсе на помывку в баню...

Заказ был исполнен к сроку, как и договаривались, ко дню Покрова. И такого стечения прихожан, как в то утро, новинский приход, не слышавший в округе богобоязненностью, еще не помнил. Многие, особенно мужики, пришли к обедне не столько помолиться, сколько поглазеть на картину «Страшный суд» над порталом, о которой так много судачили старухи. Но и они о ней ничего не знали толком. Верхняя часть подмостей перед порталом была постоянно завешена рядом. А вездесущих мальчишек Лаврентий ретиво турил от лесов, на которые они постоянно рвались. Поэтому замысел картины хранился в большом секрете до последней минуты.

Накануне Покрова Лаврентий убрал от церковных врат подмости. Рядно же оставил висеть над картиной до праздничной обедни, в которую надлежало освятить церковь после ее поругания и отслужить благодарственный молебен. В тот же вечер он получил и обещанный расчет – золотое обручальное батюшкино кольцо. И сразу же на ночь глядя, не смотря на угоры его хозяйки, тетюшки Копейки, побыть на празднике, отбыл из деревни.

Новинские приметили, что Лаврентий шел по улице в сапогах-заколенниках, когда-то принадлежащих Кузьме-мельнику. После раскулачивания они валялись под Арсиным печным коником по причине того, что были слишком огромными для нового малорослого хозяина их.

– С чего бы это стрюцкий так щедро одарил босяка? – терялись в догадках кумушки на заулках, провожая взглядами долговязого богомаза, важно вышагивающего журавлем по улице в мельниковых сапогах.

Под нестройное пение принаряженных старух – «Кресту твоему поклоняемся, Господь...» – стало медленно спадать грубое рядно с картины над порталом церковных врат... И вот уже проглянул лазоревый небосвод, озаренный теплым благосветом, исходившим от слабо, будто в тумане, проявленного лика Николы-чудотворца, поднятого в зенит, сразу вызвав толки у прихожан:

– Маткин берег – батькин край, да вить это наш Мастак! – несказанно подивился конюх Матюха Сидоркин, виновато крестя себе щербатый рот.

– Да он, наш-от Ионыч, ежесть судить по жизни, пожалуй, для нас будя поглавнее любого ангела, – трубно пробубнила из толпы бабка Пея, будтодохнула через самоварную трубу, но на нее зашикали. Так как в открывающейся из-под рядна небесной треуголке портала показались пухленькие голыши-херувимчики, купаясь на своих легких заплечных крылышках в сизых воскурениях.

Небо от тверди земной разделяла нарядная семицветьем радуга, позлащенная – от края до края – старославянской вязью в виньетках: «БОЙСЯ БОГА И СТРАШИСЬ ЕГО В КАЖДОНЕВНЫХ ПОМЫСЛАХ СВОИХ, АМИНЬ».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.